Московский Государственный Институт Иностранных Языков им. Мориса Тереза

Предмет: История

Реферат

на тему:

**Екатерина Великая и Россия Глазами Иностранцев в Эпоху**

**Правления Екатерины Великой**

Студентка I курса

Ахвердян М.А.

**Москва 2004**

**Кто такой де Рюльер?**

Записки де Рюльера посвящены очень важному, эпизоду истории России — перевороту 1762 г. и вступлению на престол Екатерины II. Автор книги «История и анекдоты революции в России в 1762 г.» шевалье Рюльер (1735—1791) был секретарем барона Бретейля, французского посла в Петербурге. Он прожил в столице около двух лет и был очевидцем событий, которые описывает. По своей должности Рюльер и занимался сбором информации. Талантливый беллетрист (его хвалил сам Вольтер), он суммировал свои наблюдения и написал книгу о перевороте 1762 г. По возвращении Рюльера из России во Францию сочинение секретаря посольства распространилось во множестве списков. Им зачитывался не только весь Париж. Оно стало известно при всех королевских дворах Европы. Сама тема, главные действующие лица, их поступки, драматизм ситуаций — все привлекало внимание читателей, в том числе и высокопоставленных государственных деятелей. Читал сочинение Рюльера и его государь — король Людовик XVI. Между тем книга, ввиду ее направленности и того фактического материала, который она содержит, не публиковалась при жизни Екатерины II. Интересно, что и русский перевод был опубликован только в XX в., после революции 1905 г., настолько фактическая основа книги была далека от официальной версии событий 1762 г.

Книга Рюльера, как он сам подчеркивает, посвящена только заговору и перевороту 1762 г. Она не претендует ни на широкие политические обобщения, ни на глубокие научные выводы. Книга Рюльера — плод суммирования, систематики отдельных фактов, информации, собранной энергичным и умным профессиональным разведчиком, человеком, который и по роду своей деятельности, да и по своим личным качествам не брезгует использовать, фиксировать любой слух, любое сообщение, любую сплетню, независимо от их характера и источника распространения. Для Рюльера они пригодны все, лишь бы укладывались в его схему рассказа. Вот почему, при всей реалистичности характеристик, они подчас грешат субъективностью именно из-за «всеядности» автора, отсутствия авторского отбора в потоке информации. Несмотря на некоторые просчеты при создании характеристик, свою основную задачу автор решает полностью. Ведь главная цель книги — собрать конкретные данные, нарисовать конкретную картину, показать конкретных людей.

В начале книги даны характеристики главных действующих лиц и их окружения. Даже сами по себе подобные портреты представляют значительный интерес. Описывая Петра III, Рюльер дает четкую, весьма правдоподобную характеристику голштинскому «уроду», «чертушке»,— по выражению императрицы Елизаветы. Отметим, что она полностью совпадает с наблюдениями других современников. Итак, в книге Рюльера читаем: «Беспредельная страсть к военной службе не оставляла его (т. е. Петра III.—*Ю.* Л.) во всю жизнь; любимое занятие его состояло в экзерциции (т. е. в воинских упражнениях.— *Ю. Л).* Его наружность, от природы смешная, делалась таковою еще более в искаженном прусском наряде... Большая, необыкновенной фигуры шляпа прикрывала малое и злобное лицо довольно живой физиономии, которую он еще более безобразил беспрестанным кривлянием для своего удовольствия. Однако он имел несколько живой ум и отличную способность к шутовству». К этой характеристике трудно добавить что-либо, и тем не менее Рюльер указывает, что Петр III был «жалок», что у него не было никаких дарований и был он попросту глуп, и т. п. Несмотря на плохо скрытую неприязнь автора книги к антагонисту императора — Екатерине, Рюльер дает, в общем, положительную характеристику «похитительнице престола». Она умна, хитра, хорошо разбирается в политике, умеет привлекать людей, честолюбива, что толкает ее к достижению тех целей, которые она перед собой поставила.

Рюльер очень хорошо показывает, и это надо отнести за счет ума и наблюдательности автора, что ни отрицательные черты императора, ни положительные Екатерины сами по себе не являлись залогом успеха столь быстрого и бескровного переворота, если бы не были нарушены основные направления русской политики, попрано национальное достоинство страны. Петр III, русский император, открыто стремился стать «вассалом» прусского короля Фридриха II, с которым в тот момент воевала Россия. Император потребовал прекратить войну с Пруссией и начать с Данией, своей бывшей союзницей. Русская армия посылалась на помощь Фридриху. Попытка введения для русского законодательства прусских законов, огромный приток немцев, которые, как при Бироне, получали государственные посты, издевательство над русской культурой, языком и религией и, наконец, открытое недовольство народа — вот основные причины успеха переворота 1762 г.

В общем надо признать, что, несмотря на всю направленность записок, а подчас тенденциозность, они, безусловно, являются интереснейшим памятником истории быта и нравов определенного круга русского общества 60-х гг. XVIII в. Записки также любопытны как превосходный памятник той историко-политической литературы, которая выпускалась по случаю каких-либо экстраординарных событий при королевских дворах Европы. Как видим, благодаря Рюльеру, секретарю французского посла барона Бретейля, Россия также не избежала этой участи.

**Кто такой граф Л.-Ф. Сегюр?**

Одним из наиболее интересных источников по истории России XVIII в. являются «Записки графа Сегюра» (1753—1830). В России он прожил около четырех лет — с 1785-го по 1789 г. Его записи, документы и докладные записки о пребывании в этой стране послужили лучшей и самой яркой частью обширных мемуаров французского посла.

«Записки» графа Сегюра открываются рассказом о приезде в империю. Свои первые впечатления от России он связывает с Петербургом. Сегюр отмечает «гений» Петра, благодаря которому возник город: «Под серым небом, несмотря на стужу... повсюду можно было видеть следы силы и власти и памятники гения Петра Великого... Я был приятно поражен, когда в местах, где некогда были одни лишь обширные бесплодные и смрадные болота, увидел красивые здания города, основанного Петром и сделавшегося менее чем в сто лет одним из богатейших, замечательнейших городов в Европе». По приезде в Петербург Сегюр деятельно знакомится с русским двором и со своими коллегами — послами европейских держав. В чем видит свою основную цель, главную задачу молодой блестящий посол короля Франции? Перед ним очень нелегкая задача — наладить взаимоотношения между его страной и Россией. Для Франции это чрезвычайно важно.

Во многом благодаря стараниям Сегюра был заключен русско-французский торговый договор 1787 г. Франция получила возможность торговать на тех же условиях, что и англичане, а русские товары освобождались от тяжелых пошлин в Марселе. Именно этим дипломатическим и политическим целям и задачам, разрешению их в спорах и контактах с русской дипломатией и государственными деятелями и посвящены мемуары Сегюра. Но не только им. Одновременно целая галерея современников Сегюра проходит перед нами. Картины быта, нравов, описание путешествий императорского двора к южным пределам страны и даже изображение природных ландшафтов содержатся в книге. И все-таки, пожалуй, наиболее рельефны и интересны у Сегюра портреты его знаменитых современников. Это прежде всего зарисовки характеров выдающихся личностей, которых он хорошо знал и с которыми он сталкивался на протяжении всего пребывания в России. Речь идет о Екатерине II и Потемкине. Сегюр наблюдал обоих и на дипломатических приемах, и при решении государственных дел, и в домашней обстановке. Наблюдений было много и самых разнообразных. Он подметил некоторые особенности характеров Екатерины и Потемкина и пишет о них с известной долей иронии и даже предубеждения, что, впрочем, естественно для иностранца, француза, дипломата, представляющего в России недружественную державу. И тем не менее в «Записках» находим очень интересные, живые, полнокровные изображения. Так, он отмечает большой государственный ум Екатерины, ее энергию, волю, самообладание, чувство такта и меры. Для Сегюра она образец политического деятеля. Екатерина решительно, четко ставит цель и стремится к ее достижению, много и плодотворно работает, пытается контролировать своих министров. В ряде случаев Сегюр пытается иллюстрировать отмеченные черты характера примерами. Екатерина стремится к созданию «хороших» законов для населения огромной страны, пытается обезопасить ее от внешних врагов, ревностно относится к защите ее интересов на международной арене.

Конечно, в описании попадается несколько слащавых характеристик императрицы. Их можно отнести и за счет комплиментов опытного царедворца, светского человека и дипломата, а также за счет общего понимания идеальных отношений между «добрым» монархом и его «простым» народом. Но иногда подобная идиллия нарушается как по воле автора, так и в силу объективной исторической действительности. Описание того, что «ее (Екатерины.—*Ю.* Л.) управление было покойное и мягкое», вдруг прерывается рассказом о восстании Емельяна Пугачева, а затем убийстве несчастного Ивана V, главного соперника императрицы, обреченного на пожизненное заключение в крепости. Впрочем, некоторые отрицательные черты Екатерины не укрылись от наблюдательности французского посла. Это гипертрофированное тщеславие, «беспредельное» честолюбие, сухость и рационализм, переходящие в безбрежный эгоизм. Эти черты, так точно подмеченные и откровенно описанные, дополняют портрет Екатерины II и совпадают с тем, что отмечают другие современники при характеристике этого выдающегося государственного деятеля своего времени и незаурядной личности.

Автор «Записок» стеснен в меньшей степени условностями при изображении Потемкина. Этот портрет получился, пожалуй, не менее жизнен, чем портрет Екатерины. Сегюр рисует его сочными красками. «Светлейший князь» предстает перед нами со всеми достоинствами и недостатками. Он умен, энергичен, деятелен, но иногда он ленив, тщеславен, апатичен. Сегюр пытается дать понять читателю, что он был со «светлейшим» на дружеской ноге. Возможно. Правда, сквозь известную легкую фамильярность при изображении Потемкина проглядывают определенные боязнь и страх, а также зависимость от решенийвсесильного фаворита. Но и это понятно. Потемкин был всемогущ.

Что можно сказать о социальной и политической направленности «Записок»? Увлечение модной философией эпохи Просвещения, чтение трудов энциклопедистов, восторженное отношение к такому понятию, как «свобода», наконец, личное участие в Войне за независимость в Америке, казалось бы, дает заранее ответ на вопрос, как Сегюр мог оценить то, что видел в России, каких вообще классовых позиций он придерживался. В самом деле, французский посол превосходно знает, что такое, крепостное право в России. Сегюр видел нищету и разорение народа, который находился под «милостивым правлением» «матушки-государыни». Более того, из-под его пера срываются точные, превосходные описания социальных контрастов. Вот что Сегюр пишет о путешествии Екатерины II на юг в 1788 г. «Бедные поселяне с заиндевевшими бородами, несмотря на холод, толпами собирались и окружали маленькие дворцы, как бы волшебною силою воздвигнутые посреди их хижин, дворцы, в которых веселая свита императрицы» пировала, сидя за «роскошными столами». Картина контрастов, объективность художественного образа чрезвычайно правдивы и убедительны. И все же в «Записках» нигде и никогда мы не найдем осуждения того строя, который господствует в России. Нигде и никогда автор не будет критиковать абсолютизм и феодализм в России. И в политике, и в литературе Сегюр, несмотря на свой либерализм и внешнее преклонение перед свободой, полностью поддерживает общество социального неравенства, ради которого он деятельно и так верно служит французским монархам — Людовику XVI, Наполеону Бонапарту и Людовику XVIII.

**Екатерина II. Кто она?**

Настоящее имя русской императрицы Екатерины II – София Фредерика Августа. «*Екатерина, дочь герцога Ангальт-Цербстского, носила имя Софии Августы-Доротеи. А получила имя Екатерины, приняв крещение по обряду православной церкви…*»[[1]](#footnote-1) Она родилась в Германии, в обедневшей княжеской семье. Ее отец – принц Христиан Август Ангальт-Цербский был братом владетельного князя небольшого княже6ства Ангальт-Цербст и служил у прусского короля Фридриха Великого губернатором города Штеттина. Мать Софии – Луиза происходила из Голштинского княжеского дома. Она славилась красотой и часто бывала при королевском дворе Фридриха Великого. Свою впоследствии знаменитую дочь Луиза родили в шестнадцать лет. Существует легенда, что отец Софии не добродушный и простоватый принц Христиан, а сам Фридрих Великий.

В детстве Софию Фредерику Августу называли просто Фика. Она получила скромное домашнее образование: умела читать и писать и выучилась говорить по-французски у своей гувернантки мадемуазель Кардель, пересказывавшей ей пьесы Мольера и модные романы.

Однажды, когда София вместе с матерью гостила у герцогини Браншвейгской, местный священник, известный умением предсказывать будущее, сказал, что видит на лбу маленькой Фики три короны – московскую, казанскую и астраханскую. Все, кроме самой Софии, приняли это за шутку.

Чтобы проследить цепь событий, которые привели бедную немецкую принцессу на российский престол, вернемся во времена Петра Первого. Когда он разгромил шведов, в Россию приехал немецкий герцог голштейн-готторпский Фридрих Карл. Он надеялся с помощью русского императора вернуть себе право на шведский престол, принадлежавшее ему по родственным связям. Но после окончания войны Россия не хотела вмешиваться в дела Швеции, и герцог решил жениться на дочери Петра Первого Анне Петровне. При этом и он, и Анна Петровна отказались от претензий на русскую корону. Но в брачном договоре оговаривалось, что их сын может быть призван в случае необходимости на русский престол.

После смерти Петра Первого герцог Фридрих Карл поссорился с князем Меньшиковым и вместе с женой вернулся в Голштинию. Них родился сын – Карл Петр Ульрих. Анна Петровна прожила недолго. Она простудилась, наблюдая из окна за парадом, заболела и умерла. Вскоре умер и герцог. Карл остался сиротой. Его окружали только военные, и потому он не знал ничего, кроме военных игр и упражнений. Он перенес в детстве много унижений. Часто за провинности ему приходилось подолгу стоять на коленях на горохе. А самым строгим наказанием был запрет присутствовать на параде.

Но за принцем оставались права на шведский русский престол. Когда в России власти пришла дочь Петра Первого Елизавета, она объявила Карла Петра Ульриха своим наследником. И его тайно, под чужим именем ввезли в Россию: боялись, что перехватят шведы.

Наследника престола нужно было женить. Правители европейских государств предлагали своих невест. Елизавета отвергла дочерей английского и польского королей. Отказ получили французская и прусская принцессы. Выбор пал на никому не известную Софью Фредерику Августу.

Это имело свое объяснение. Задолго до этих событий Елизавета, тогда ещё не императрица, а просто дочь Петра Первого, входила замуж за немецкого принца Карла Августа. Молодые любили друг друга. Перед самой свадьбой жених неожиданно умер. Елизавета не могла забыть его всю жизнь. Родной сестрой этого принца была мать Софии Фредерики Августы. Поэтому, когда Елизавете напомнили, что у ее покойного возлюбленного есть племянница, близкая по годам наследнику престола, дело решилось в ее пользу.

Русская императрица знала о бедности своей будущей невестки. Вместе с приглашением явиться русскому двору она послала ей десять тысяч червонцев на дорогу. Боясь происков австрийцев, не терявших надежду будущему русскому императору свою принцессу, София и её мать ехали в Россию тайно, под чужими именами. Весь гардероб Софии состоял из трёх платьев, шести рубашек и шести носовых платков.

**Жизнь Екатерины II при дворе Елизаветы.**

В Москве София простудилась в сыром и холодном дворце и опасно заболела. Шестнадцать раз ей пускали кровь. Мать предложила позвать к ней протестантского пастора. София отказалась и попросила православного священника. Этим она заслужила доверие Елизаветы, и по выздоровлении ее крестили по православному обряду с именем Екатерины Алексеевны. А только ей исполнилось шестнадцать лет, состоялась свадьба с Петром III. Образом церемонии послужила свадьба французского наследника в Версале.

Петр III незадолго до женитьбы перенес оспу. Болезнь обезобразила его лицо. «Его наружность, от природы смешная, делалась таковою еще более в искаженном прусском наряде... Большая, необыкновенной фигуры шляпа прикрывала малое и злобное лицо довольно живой физиономии, которую он еще более безобразил беспрестанным кривлянием для своего удовольствия. Однако он имел несколько живой ум и отличную способность к шутовству».[[2]](#footnote-2) К невесте он относился холодно и большую часть своего свободного времени уделял игре в оловянных солдатиков. «Беспредельная страсть к военной службе не оставляла его во всю жизнь; любимое занятие его состояло в экзерциции (в воинских упражнения .— прим. автора».*[[3]](#footnote-3)* Жениться он согласился, чтобы не сердить Елизавету. «Этот брак был несчастлив: природа, скупая на свои дары молодому князю, осыпала ими Екатерину. Казалось, судьба по странному капризу хотела дать супругу малодушие, непоследовательность, бесталанность человека подначального, а его супруге — ум, мужество и твердость мужчины, рожденного для трона. И действительно, Петр только мелькнул на троне, а Екатерина долгое время удерживала его за собою с блеском».[[4]](#footnote-4)

Холодность и даже неприязнь мужа не остановили Екатеринину. Она твердо решила стать русской императрицей.

Екатерина понимала, что рано или поздно ей придется бороться за престол. Она старалась завоевать популярность при дворе. Екатерина часто беседовала с придворными старухами, которые распространяли слухи и от которых во многом зависело общественное мнение и настроение. Она терпеливо выслушивала их жалобы и советы, строго соблюдала православные обряды, старалась окружать себя русскими, а не иностранцами.

- Или я умру, или буду царствовать, - сказала она английскому послу, поддерживающему её намерения.

Известно, что он передал Екатерине двадцать тысяч червонцев, надеясь на ее благосклонность к Англии в будущем.

Императрица Елизавета всё больше недолюбливала Екатерину. Она не раз говорила, что её племянник Петр III дурак, а Екатерина умна и трон достанется ей.

Когда Екатерина родила сна Павла, Елизавета в первый же день забрала ребенка к себе. Екатерине она подарила сто тысяч рублей и шкатулку с драгоценностями.

В минуту кончины Елизаветы Екатерина находилась при ней, а потом долго носила траур. Это ещё больше подняло ее авторитет среди придворных.

Унаследовав престол, Петр III в самое короткое время настроил против себя придворных. Он презрительно относился России, мечтал вернуться в Голштинию и отвоевать её у Дании. Петр окружил себя немцами и даже издал указ, чтобы все документ писались на русском и немецком языках. Сам он почти не умел говорить по-русски и насмехался над православными обрядами. Петр III преклонялся перед прусским королем Фридрихом Великим. Он прекратил войну с Пруссией, в которой русские войска одерживали одну победу за другой.

С Екатериной Петр III хотел развестись и заключить её вместе с сыном Павлом в Шлиссельбургскую крепость. Екатерина знала об этом и с помощью своей подруги княгини Дашковой и гвардейских офицеров во главе с братьями Орловыми готовила переворот.

**Государственный переворот.**

В Петербурге распространились слухи об опасности, грозившей Екатерине и её сыну. Петр III в это время находился в загородном дворце, а сама Екатерина в Петергофе. «*Императрица была за 8 миль в Петергофе и под предлогом, что оставляет императору в полное распоряжение весь дом из опасения помешать ему с его двором, жила в особом павильоне, который, находясь на канале, соединенном с рекою, доставлял при первой тревоге более удобности к побегу в нарочно привязанной под самыми окнами лодке»*. [[5]](#footnote-5) Случайно был арестован поручик Пассек, посвященный в заговор. Этот арест напугал заговорщиков. Алексей Орлов поехал за Екатериной и привез её в Петербург. «*Княгиня Дашкова выслушала и ушла. Уже была полночь. Сия 18-летняя женщина одевается в мужское платье, оставляет дом, идет на мост, где собирались обыкновенно заговорщики. Орлов был уже там со своими братьями. Любопытно видеть, как счастие помогло неусыпности. Узнав об аресте Пассика и времени немедленного возмущения, все оцепенели, и когда радость заняла место прежнего удивления, все согласились на сие с восторгом. Один из сих братьев, отличавшийся от других рубцом на лице от удара, полученного на публичной игре, простой солдат, который был бы редкой красоты, если бы не имел столь суровой наружности, и который соединял проворство с силою, отправлен был от княгини с запискою в сих словах: «Приезжай, государыня, время дорого». Другие ж и княгиня приготовлялись во всю ночь с таким искусством, что к приезду императрицы было все уже готово, или если бы какое препятствие остановило ее, то никакой безрассудный шаг не открыл бы их тайны. Они даже предполагали, что предприятие могло быть неудачное, и на сей случай приготовили все к побегу ее в Швецию. Орлов со своим другом зарядили по пистолету и поменялись ими с клятвою не употреблять их ни в какой опасности, но сохранить на случай неудачи, чтобы взаимно поразить друг друга. Княгиня не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно. Означенный Орлов узнал от своего брата самые потаенные изгибы в саду и павильоне. Он разбудил свою государыню, и, думая присвоить в пользу своей фамилии честь революции, сей солдат имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: «Государыня, не теряйте ни минуты, спешите!» И, не дождавшись ответа, оставил ее, вышел и исчез. Императрица в неизъяснимом удивлении одевалась и не знала, что начать; но тот же самый человек с быстротою молнии скачет по аллеям парка. «Вот ваша карета!» — сказал он, и императрица, не имея времени одуматься, держась рукою за Екатерину Ивановну, как бы увлеченная, бежала к воротам парка. Она увидела тут карету, которую сей Орлов отыскал на довольно отдаленной даче, где, по старанию княгини Дашковой, за два дня перед сим стояла она на всякий случай в готовности, — для того ли, что по нетерпению гвардии ожидали действия заговора несколько прежде, или для того, чтобы иметь более средств сохранить императрицу от всякой опасности, содержа подставных лошадей до соседственных границ. Карета отправилась с наемными крестьянами, запряженная в 8 лошадей, которые в сих странах, будучи татарской породы, бегают с удивительною быстротою. Екатерина сохраняла такое присутствие духа, что во все время своего пути смеялась со своею горничною какому-то беспорядку в своем одеянии. Издали усмотрели открытую коляску, которая неслась с удивительною быстротою, и как сия дорога вела к императору, то и смотрели на нее с беспокойством. Но это был Орлов, любимец, который, прискакав навстречу своей любезной и крича: «Все готово!» — пустился обратно вперед с тою же быстротою. Таким образом продолжали путь свой к городу. Орлов один в передней коляске, за ним императрица со своею женщиною, а позади Орлов-солдат с товарищем, который его провожал. Близ города они встретили Мишеля, француза-камердинера, которому императрица оказывала особую милость, храня его тайны и отдавая на воспитание побочных его детей. Он шел к своей должности, с ужасом узнал императрицу между такими проводниками и думал, что ее везут по приказу императора. Она высунула голову и закричала: «Последуй за мною!» — и Мишель с трепещущим сердцем думал, что едет в Сибирь. Таким-то образом, чтобы деспотически чувствовать в обширнейшей в мире империи, прибыла Екатерина в восьмом часу утра, по уверению солдата, с наемными кучерами, руководимая любимцем, своею женщиною и парикмахером».[[6]](#footnote-6)* Она отправилась в казармы гвардии, и полки присягнули ей. У Казанского собора в окружении десяти тысяч солдат Екатерину провозгласили императрицей, а её сна Павла – наследником. «*Надлежало переехать через весь город, чтобы явиться в казармах, находящихся с восточной стороны и образующих в сем месте совершенный лагерь. Они приехали прямо к тем двум ротам Измайловского полка, которые уже дали присягу. Солдаты не все выходили из казарм, ибо опасались, чтобы излишнею тревогою не испортить начала. Императрица сошла на дорогу, идущую мимо казарм, и между тем как ее провожатые бежали известить о ее прибытии, она, опираясь на свою горничную, переходила большое пространство, отделяющее казармы от дороги. Ее встретили 30 человек, выходящих в беспорядке и продолжающих надевать кителя и рубашки. При сем зрелище она удивилась, побледнела и ужас, видимо, овладел ею. В ту же минуту, которая представляла ее еще трогательнее, она говорит, что пришла к ним искать своего спасенья, что император приказал убить ее и с сыном и что убийцы, получа сие повеление, уже отправились. Все единогласно поклялись за нее умереть. Прибегают офицеры, толпа увеличивается. Она посылает за полковым священником и приказывает принести распятие. Бледный, трепещущий священник явился с крестом в руке и, не зная сам, что делал, принял от солдат присягу.* Простые офицеры явились к своим местам и командовали к оружью. *Замечательно, что из великого числа субалтерных офицеров, давших свое слово, один только, именем Пушкин, по несчастию или по слабости, не сдержал его. Императрица объехала кругом казарм и пробежала пешком каждый из трех гвардейских полков — стражу, всегда ужасную своим государям, которая, некогда быв составлена Петром I из иностранцев, охраняла его от мятежников, но потом, умноженная числом русских, уже трикратно располагала регентством и короною. Императрица, окруженная уже десятью тысячами человек, вошла в ту же самую карету и, зная дух своего народа, повела их к Соборной церкви и вышла помолиться. Оттуда поехала она в огромный дворец, который одной стороной стоит над рекой, а другой обращен к обширной площади. Сей дворец, сколь возможно, был окружен солдатами. При концах улиц поставлены были пушки и готовы фитили. Площади и другие места были заняты караулами, и чтобы не допустить ни малейшего сведения императору о происходившем, то поставили отряд солдат на мосту, ведущем при выезде из Петербурга на ту дачу, где был император, но было уже поздно*. *Приехав во дворец, она вынесла Павла на балкон и показала солдатам и народу. Стечение было бесчисленное, и все прочие полки присоединились к гвардии. Восклицания повторялись долгое время, и народ в восторге радости кидал вверх шапки. Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, пронесенные по главным улицам, и никто не знал, чье погребение. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы; а между тем, как внимание народа было все на сем месте, сия церемония скрылась из вида. Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: «Мы хорошо приняли свои меры*». *Все вельможи, узнав поутру о сей новости, торопились во дворец; это было не последнее зрелище, которое представляли их физиономии, изображавшие беспокойство и радость, где суета и улыбка видимы были на бледных и испуганных лицах. Они услышали во дворце торжественную службу, увидели священников, принимающих присягу в верности, и императрицу, употребляющую все способы обольщения. В присутствии ее был шумный совет о том, что долженствовало быть вперед. Всякий, страшась опасности и стараясь показать себя, предлагал и торопился исполнить. Не почитая нужным никакие предосторожности против города, совершенно возмущенного, и не предвидя никакой опасности оставить позади себя Петербург, скоро положено было, не теряя ни минуты, вести всю армию против императора. Великий шум между солдатами прервал их совещание. В беспрестанной тревоге насчет предстоявшей императрице опасности и ожидая всякую минуту, чтобы мнимые убийцы, посланные к ней и ее сыну, к ней не приехали, они полагали, что она не довольно безопасна в сем обширном дворце, который с одной стороны омывается рекою и, не быв окончен, казался открыт со всех сторон. Они говорили, что не могут ручаться за жизнь ее, и с великим шумом требовали, чтобы перевели ее в старый деревянный дворец, гораздо меньший, который, будучи на небольшом пространстве, могли бы они окружить со всех четырех сторон. И так императрица перешла площадь при самых шумных восклицаниях. Солдатам раздавали пиво и вино; они переоделись в прежний свой наряд, кидая со смехом прусский униформ, в который одел их император и который в их холодном климате оставлял солдата почти полуоткрытым, встречали с громким смехом тех, которые по скорости прибегали в сем платье, и их новые шапки летели из рук в руки, как мячи, делаясь игрою черни*. *Один полк явился печальным; это были прекрасные кавалеристы, у которых с детства своего император был полковником и которых по восшествии на престол он тотчас ввел в Петербург и дал им место в гвардейском корпусе. Офицеры отказались идти и были все арестованы, а солдаты, коих недоброхотство было очевидно, были ведены другими из разных полков. В полдень первое российское духовенство, старцы почтенного вида (известно, сколь маловажные вещи, действуя на воображение, делаются в сии решительные минуты существенной важностию), украшенные сединами, с длинными белыми бородами, в блестящем и приличном одеянии, приняв царские регалии, корону, скипетр и державу со священными книгами, покойным и величественным шествием проходили чрез всю армию, которая с благоговением хранила тогда молчание. Они вошли во дворец, чтобы помазать на царство императрицу, и сей обряд производил в сердцах, не знаю, какое-то впечатление, которое, казалось, давало законный вид насилию и хищению. Как скоро совершили над нею, она тотчас переоделась в прежний гвардейский мундир, который взяла у молодого офицера такого же роста. После благоговейных обрядов религии следовал военный туалет, где тонкости щегольства возвышали нарядные прелести, где молодая и прекрасная женщина с очаровательной улыбкою принимала от окружавших ее чиновников шляпу, шпагу и особенно ленту первого в государстве ордена, который сложил с себя муж ее, чтобы вместо него носить всегда прусский. В сем новом наряде она села верхом у крыльца своего дома и вместе с княгинею Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь, объявляла войскам, как будто хочет быть их генералом, и веселым и надежным своим видом внушала им доверенность, которую сама от них принимала. Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять взошла во дворец и обедала у окна, открытого на площадь. Держа стакан в руке, она приветствовала войска, которые отвечали продолжительным криком; потом села опять на лошадь и поехала перед своею армиею*».[[7]](#footnote-7) Спустя несколько дней, вместе с княгиней Дашковой, Екатерина в мундире офицера Преображенского полка, в шляпе, украшенной дубовыми ветками, на сером коне, с отрядом войск отправилась в Петергоф, куда бежал Петр III. Его арестовали и отправили в Ропшу. Петр III пал духом и смирился со своей участью. Он отрекся от престола и попросил, чтобы ему прислали его негра Нарцисса, скрипку, романы, немею Библию и любимого мопса. Петр надеялся, что его оставят в покое и дадут возможность жить вдали от государственных дел. «*Уже прошло 6 дней после революции: и сие великое происшествие казалось конченным так, что никакое насилие не оставило неприятных впечатлений. Петр содержался в прекрасном доме, называемом Ропша, в 6 милях от Петербурга. В дороге он спросил карты и состроил из них род крепости, говоря: «Я в жизнь свою более их не увижу». Приехав в сию деревню, он спросил свою скрипку, собаку и негра*».[[8]](#footnote-8)

Заговорщики, охранявшие Петра III, понимали, что он не должен оставаться живым. Они затеяли с ним драку и задушили низложенного императора. «*Один из графов Орловых (ибо с первого дня им дано было сие достоинство), тот самый солдат, известный по находящемуся на лице знаку, который утаил билет княгини Дашковой, и некто по имени Теплое, достигший из нижних чинов по особенному дару губить своих соперников, пришли вместе к несчастному государю и объявили при входе, что они намерены с ним обедать. По обыкновению русскому, перед обедом подали рюмки с водкою, и представленная императору была с ядом. Потому ли, что они спешили доставить свою новость, или ужас злодеяния понуждал их торопиться, через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространялось по его жилам, и злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение — он отказался от другой; они употребили насилие, а он против них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, которые начинали раздаваться далеко, они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю; но как он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние, а они избегали всячески, чтобы не нанести ему раны, опасаясь за сие наказания, то и призвали к себе на помощь двух офицеров которым поручено были его караулить и которые в сие время стояли у дверей вне тюрьмы. Это был младший князь Барятинский и некто Потемкин, 17-ти лет от роду. Они показали такое рвение в заговоре, что, несмотря на их первую молодость, им вверили сию стражу. Они прибежали, и трое из сих убийц, обвязав и стянувши салфеткою шею сего несчастного императора (между тем как Орлов обеими коленями давил ему грудь и запер дыхание), таким образом его задушили, и он испустил дух в руках их. Нельзя достоверно сказать, какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменною веселостию. Вдруг является тот самый Орлов — растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости. Войдя в комнату, сверкающие и быстрые глаза его искали императрицу. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом публиковать о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну ночь и на. другое утро объявить сию новость, как будто сие случилось ночью. Приняв сей совет, императрица возвратилась с тем же лицом и продолжала обедать с тою же веселостью. Наутро, когда узнали, что Петр умер от геморроидальной колики, она показалась, орошенная слезами, и возвестила печаль своим указом*».[[9]](#footnote-9) Похоронили Петра III в обычной могиле без почестей, в старом мундире голштинского офицера. «*Тело покойного было привезено в Петербург и выставлено напоказ. Лицо черное, и шея уязвленная. Несмотря на сии ужасные знаки, чтобы усмирить возмущения, которые начинали обнаруживаться, и предупредить, чтобы самозванцы под его именем не потрясли бы некогда империю, его показывали три дня народу в простом наряде голштинского офицера. Его солдаты, получив свободу, но без оружия, мешались в толпе народа и, смотря на своего государя, обнаруживали на лицах своих жалость, презрение, некоторый род стыда и позднего раскаяния*». [[10]](#footnote-10)

**Царствование Екатерины II.**

Через некоторое время Екатерина II короновалась в Москве. Участникам заговора она раздала награду около миллиона рублей. Главный организатор переворота, Григорий Орлов, хотел жениться на Екатерине. Она тоже слонялась к мысли о браке. Но старые Елизаветинские вельможи воспротивились этому: « *- Екатерина II может быть императрицей, госпожа Орлова – никогда!*». В годы царствования Екатерины II при дворе сменилось множество фаворитов. По подсчетам историков Екатерина раздала им больше ста миллионов рублей.

Царствование Екатерины II стало эпохой в жизни России. Но сначала, я считаю, стоит дать описание её самой уже после того, как она стала императрицей. Екатерина по-прежнему очень много читала. Её любимой книгой были «Жизнеописания великих и знаменитых людей» Плутарха. Она усердно изучала русский язык. Впоследствии шутили, что царица-немка плохо владеет русским языком и в слове из трех букв делает четыре ошибки – вместо «ещё» пишет «исчо». Но это касалось только правописания. Говорила по-русски Екатерина лучше многих своих придворных. Горничной Прасковьи и лакея Шкурета она научилась народным выражениям и пословицам и часто употребляла их. Екатерина не раз говорила, что считает русский язык самым богатым и красивым в мире. В письмах к Вольтеру она сочувствовала философу, что при богатстве мыслей ему приходится пользоваться французским, а не русским языком.

«*Екатерина отличалась огромными дарованиями и тонким умом; в ней дивно соединились качества, редко встречаемые в одном лице. Склонная к удовольствиям и вместе с тем трудолюбивая, она была проста в домашней жизни и скрытна в делах политических. Честолюбие ее было беспредельно, но она умела направлять его к благоразумным целям. Страстная в увлечениях, но постоянная в дружбе, она предписала себе неизменные правила для политической и правительственной деятельности; никогда не оставляла она человека, к которому питала дружбу, или предположение, которое обдумала. Она была величава пред народом, добра и даже снисходительна в обществе; к ее важности всегда примешивалось добродушие, веселость ее всегда была прилична. Одаренная возвышенной душою, она не обладала ни живым воображением, ни даже блеском разговора, исключая редких случаев, когда говорила об истории или о политике, — тогда личность ее придавала вес ее словам. Это была величественная монархиня и любезная дама. Возвышенное чело, несколько откинутая назад голова, гордый взгляд и благородство всей осанки, казалось, возвышали ее невысокий стан. У ней были орлиный нос, прелестный рот, голубые глаза и черные брови, чрезвычайно приятный взгляд и привлекательная улыбка. Чтобы скрыть свою полноту, которою наделило ее все истребляющее время, она носила широкие платья с пышными рукавами, напоминавшими старинный русский наряд. Белизна и блеск кожи служили ей украшением, которое она долго сохраняла.*

*Она была очень воздержанна в пище и питье, и некоторые насмешливые путешественники грубо ошибались, уверяя, что она употребляла много вина. Они не знали, что красная жидкость, всегда налитая в ее стакане, была не что иное, как смородинная вода. Она никогда не ужинала; в шесть часов вставала и сама затопляла свой* камин. *Сперва занималась она с своим полицеймейстером, потом с министрами. За ее столом обыкновенно было не более восьми человек. Обед был прост, как в частном доме, и так же как за столом Фридриха II, этикет был изгнан и допущена непринужденность в обращении.*

*Личные ее убеждения были философские, но как государыня она обнаруживала большое уважение к религии. Никто не умел с такою непостижимою легкостью переходить от развлечений к трудам. Предаваясь увеселениям, она никогда не увлекалась ими до забвения и среди занятий не переставала быть любезной. Сама диктуя своим министрам важнейшие бумаги, она обращала их в простых секретарей; она одна одушевляла и руководила своим советом.*

*Екатерина, в ранней молодости перенесенная в чуждую ей страну, язык, законы и нравы которой она должна была изучать в одно и то же время, нерадостно провела молодые годы. Не любимая супругом, в зависимости от императрицы, к характеру которой она не могла приноровиться, она видела в будущем только несчастия, так как природа одарила ее слишком большим умом, дарованиями и гордостью для того, чтобы она могла довольствоваться спокойствием уединения*»,*[[11]](#footnote-11)*- так пишет о ней французский дипломат. К этому описанию стоит добавить ещё несколько деталей. Даже во время путешествия в Крым она не оставляет своих дел и занятий. «*Почти целое утро государыня занималась, и каждый из нас мог в это время читать, писать, гулять, одним словом, делать, что ему угодно. Обед, за которым бывало немного гостей и немного блюд, был вкусен, прост, без роскоши; послеобеденное время употреблялось на игру или на беседу; вечером императрица уходила довольно рано, и мы собирались у Кобенцеля, у Фитц-Герберта, у меня или у Потемкина*». «*Каждое утро, поработав с час, Екатерина, перед отъездом, принимала являвшихся к ней чиновников, помещиков и купцов того места, где останавливалась; она допускала их к руке своей, а женщин целовала и после этого должна была уходить в туалетную, потому что, по общему обыкновению в России, все женщины, даже мещанки и крестьянки, румянились, и по окончании такого приема все лицо государыни было покрыто белилами и румянами. В каждом городе императрица тотчас по приезде своем отправлялась в местную церковь и молилась*».*[[12]](#footnote-12)* «*Обычный порядок, который императрица ввела в свой образ жизни, почти не изменился во время ее путешествия. В шесть часов она вставала и занималась делами с министрами, потом завтракала и принимала нас. В девять часов мы отъезжали и в два останавливались для обеда; после того снова останавливались в семь. Везде она находила дворец или красивый дом, приготовленный для нее. Мы ежедневно обедали с нею. После нескольких минут, посвященных туалету, императрица выходила в залу, разговаривала, играла с нами; в девять часов уходила к себе и занималась до одиннадцати*».*[[13]](#footnote-13)* Человек для нее прежде всего человек, а не пост, который он занимает. Если её не устраивали служебные качества человека, но особенно нравились личные, то она вела себя более благородно, чем это делали люди, её окружавшие. «*Все эти проделки снова пробуждали в императрице прежнюю недоверчивость к нам, и со мною стали реже совещаться. Но в личных отношениях ко мне императрица была по-прежнему любезна. Она пригласила меня отобедать с нею в новом дворце, построенном князем Потемкиным*».*[[14]](#footnote-14)* Нельзя не отметить её набожность. Причем именно приверженность к христианству, к той вере, в которую верит страна, которой она обязана управлять. Нельзя также отказать ей в практичности. «*Французский король никогда не знает в точности, сколько он издерживает; у него ничто не распределено и не назначено вперед. Я, напротив того, делаю вот что: ежегодно определяю известную, всегда одинаковую, сумму на расходы для моего стола, меблировки, театров, конюшни — одним словом, для содержания всего дома; я приказываю, чтобы за столом в моих дворцах подавали такие-то вина, столько-то блюд. То же самое делается и по другим частям хозяйства. Когда мне доставляют все в точности, в требуемом количестве и качестве, и если никто не жалуется на недостаток, то я довольна, и мне совершенно все равно, если из отпускаемой суммы сколько-нибудь украдут. Для меня важно то, чтобы эта сумма не была превышаема. Таким образом, я всегда знаю, что издерживаю. Это такое преимущество, которым пользуются немногие государи и даже немногие богачи из частных лиц*».[[15]](#footnote-15) «*— Меня всего более удивляет ненарушимое спокойствие, которым ваше величество пользуетесь на троне, издавна обуреваемом грозами. Трудно постигнуть, каким образом, прибыв в Россию из чужих стран молодою женщиною, вы царствуете так спокойно и не бываете принуждены тушить внутренние смуты и бороться с домашними врагами и не встречаете никаких важных препятствий? — Средства к тому самые обыкновенные, — отвечала она. — Я установила себе правила и начертала план: по ним я действую, управляю и никогда не отступаю. Воля моя, раз выраженная, остается неизменною. Таким образом все определено, каждый день походит на предыдущий. Всякий знает, на что он может рассчитывать, и не тревожится по-пустому. Если я кому-нибудь назначила место, он может быть уверен, что сохранит его, если только не сделается преступником. Таким путем я устраняю всякий повод к беспокойствам, доносам, раздорам и совместничеству. Зато вы у меня и не заметите интриг. Пронырливый человек старается столкнуть должностное лицо, чтобы самому заместить его, но в моем правлении такие интриги бесполезны*».[[16]](#footnote-16)

Также обладала несомненной благоразумностью. «*Места, которые мы проезжали в начале путешествия, представляли мало пищи вниманию: повсюду леса и замерзлые болота. В одной Петербургской губернии заключалось 72 000 десятин леса. Но потребление его, вынуждаемое климатом, увеличилось до такой степени, что заметно стало уменьшение этих лесов, и государыня запретила указом вырубать более трети его в год», она, будучи правительницей, остается женщиной «Января 17-го Фитц-Герберт, граф Кобенцель и я, отобедав в С.-Петербурге у австрийского консула, отправились в Царское Село, где мы нашли императрицу молчаливою и задумчивою против ее обыкновения. Ее огорчила невозможность взять с собою великих князей Александра и Константина. Граф Мамонов был в лихорадке, Екатерина ощущала то, что обыкновенно чувствуют люди, которым судьба постоянно благоприятствует: малейшее стеснение составляет для них предмет неожиданного горя. Она приняла нас ласково, но мало говорила и посадила за лото, хотя, сколько мне известно, играла в эту игру довольно редко. Она скоро заметила, какую скуку наводила на меня эта забава: я нехотя дремал. Несколько раз она шутила надо мною*», «*Императрица, не ограничиваясь одними лишь обычными приветствиями, везде подробно расспрашивала чиновников, духовных, помещиков и купцов о их положении, средствах, требованиях и нуждах. Вот чем она снискивала себе любовь своих подданных и допытывалась правды, чтобы обнаружить огромные злоупотребления, которые многие старались скрыть от нее. Однажды она сказала мне: «Гораздо более узнаешь, беседуя с простыми людьми о делах их, чем рассуждая с учеными, которые заражены теориями и из ложного стыда с забавною уверенностью судят о таких вещах, о которых не имеют никаких положительных сведений. Жалки мне эти бедные ученые! Они никогда не смеют сказать: «Я не знаю», а слова эти очень просты для нас, невежд, и часто избавляют нас от опасной решимости. Когда сомневаешься в истине, то лучше ничего не делать, чем делать дурно*».[[17]](#footnote-17) Да, она хочет слышать правду от других, но и сама не забывает, что нужно быть искренней. *««Я долго с ним беседовала, — говорила мне Екатерина, — но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами. Однако так как я больше слушала его, чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я — скромной его ученицею. Он, кажется, сам уверился в этом, потому что, заметив наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: «Г. Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушал ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы». Я уверена, что после этого я ему показалась жалка, а ум мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед».*»[[18]](#footnote-18)

Екатерина II поддерживала поэта Державина. Она сама писала пьесы и сказки для детей, издавала один из первых в России журналов. В то же время Радищева, автора «Путешествие из Петербурга в Москву», описавшего тяжелое положение крепостных крестьян, по ее приказу сослали в Сибирь.

Узнав, что во Франции запретили издание Энциклопедии Дидро и Вольтера, она предложила им перенести работу в Россию. На протяжении многих лет она переписывалась с этими философами. Дидро по её приглашению приезжал в Петербург. Екатерина II купила у него библиотеку с условием, что книги будут переданы ей только после смерти философа. «*Знаменитый Дидро внушил Екатерине желание познакомиться с де ла Ривиером. Дидро сам приезжал в Петербург; Екатерине понравилась в нем живость ума, своеобразность способностей и слога и его живое, быстрое красноречие. Этот философ — может быть, недостойный этого названия, потому что был нетерпим в своем безверии и до забавного фанатик в идее небытия — был, однако, одарен пылкою душою и потому, казалось бы, не должен был сделаться материалистом. Впрочем, имя его, кажется, пережило большую часть его сочинений. Он лучше говорил, нежели писал; труд охлаждал его вдохновение, и сочинениями своими он далеко отстоит от великих наших писателей, но пламенная речь его была увлекательна, сила выражений, которые он всегда находил без труда, предупреждала суд о верности или пустоте его мыслей; речь его поражала, потому что была блестяща и картинка; это был гений на парадоксы и проповедник материализма*».[[19]](#footnote-19)

Екатерина II очень любила русскую историю и всё русское. Она не раз говорила, что, по её мнению, только русские и англичане могут с полным правом считать себя совершенными народами. Своим образцом Екатерина II избрала Петра Первого.

По свидетельству современников, Екатерина II была среднего роста, плотного телосложения, глаза светло-серые, руки красивой формы. Улыбку её находили необыкновенно приятною. Екатерина II держалась просто и вместе с тем величественно. Она производила впечатление очень энергичной женщины. Помогавшие ей одеваться, рассказывали, что чувствовали исходящие от неё электрические толчки и даже видели искры. «*Наконец я был допущен к аудиенции и в самом начале чуть было не испытал неудачи. По обыкновению, я представил вице-канцлеру копию с речи, которую должен был произнести. Когда я приехал во дворец, в приемной комнате, где я дожидался, встретил меня граф Кобенцель, австрийский посланник. Его живой, одушевленный разговор и важность предметов этого разговора заняли мое внимание и развлекли меня совершенно, так что когда мне объявили, что императрица готова меня принять, я заметил, что совершенно позабыл свою приветственную речь. Напрасно старался я вспомнить ее, проходя чрез ряд комнат, как вдруг отворилась дверь, и я предстал пред императрицей. В богатой одежде стояла она, облокотясь на колонну; ее величественный вид, важность и благородство осанки, гордость ее взгляда, ее несколько искусственная поза — все это поразило меня, и я окончательно все позабыл. К счастью, не стараясь напрасно понуждать свою память, я решился тут же сочинить речь, но в ней уже не было ни слова, заимствованного из той, которая была сообщена императрице и на которую она приготовила свой ответ. Это ее несколько удивило, но не помешало тотчас же ответить мне чрезвычайно приветливо и ласково и высказать несколько слов, лестных для меня лично*».[[20]](#footnote-20)

Лето любила проводить в Царском Селе, куда для неё возили воду из Невы, так как другой она не пила. Подвоз воды за лето обходился в десять тысяч рублей.

Екатерина любила животных. У нее были обезьянка, собачки. После одного из петербургских пожаров во дворце по её приказу кормили городских голубей.

Говорить Екатерина старалась кратко и остроумно, но ни одно из её многочисленных высказываний не стало крылатым. Наиболее удачные из них – ответ послам шведского короля, требовавшим установить русско-шведскую границу допетровских времен: «Если бы король овладел Петербургом и Москвою, то и тогда ещё я бы показала ему, что может сделать решительная женщина во главе храброго народа».

С сыном Павлом у Екатерины II сложились плохие отношения. Многие считали, что она незаконно занимает престол, который должен был принадлежать Павлу как прямому наследнику по мужской линии. Внуков Екатерина обожала, особенно Александра, будущего императора. Она сама занималась их воспитанием, восхищалась успехами, заботилась об их женитьбе. «Устремясь по всем путям славы, она пожелала также снискать известность на Парнасе и в часы досуга сочинила несколько комедий. Когда аббат Шапп, в изданном им путешествии в Сибирь, высказал злые клеветы на нравы русского народа и правление Екатерины, она опровергла его в сочинении под заглавием Antidote. Нельзя без удовольствия читать ее умные письма к Вольтеру и де Линю. Все были поражены, когда гордая монархиня, преклоняясь пред философией, вздумала призвать в Россию д'Аламбера, чтобы поручить ему образование наследника престола, и когда философ отказался от случая распространить свои идеи влиянием своим на такого питомца. Напротив того, Дидро с гордостью прибыл ко двору Екатерины; она восхищалась его умом, но отвергла его теории, заманчивые по своим идеям, но неприложимые к практике. Императрица, сама усердно следя за воспитанием своих внучат Александра и Константина, сочинила для них нравоучительные сказки и сокращенную историю древней России».[[21]](#footnote-21)

**Россия в эпоху правления Екатерины II.**

Еще многое можно сказать о Екатерине II, но обратимся же, наконец, к людям, городам, обстоятельствам, которые принадлежали её эпохе.

Города.

Итак, путешествие Л.-Ф. Сегюра начинается с городков, которые находятся далеко от столицы страны. Имея опыт нынешних дней и привыкнув к критике иностранцев, видевших столь привычные для нас и столь непривычные для них картины, мы не встречаем ожидаемой критики. Наоборот, мы видим человека, которому здесь нравится, и он не жалеет, что судьба забросила его сюда. Единственное неприятное воспоминание связано у Сегюра с предвзятым отношением к России «*Относительно России всем известно, что она долее других европейских стран оставалась в невежестве и что в течение XVII столетия и даже по самое царствование Петра III отпечаток варварских нравов не был в ней изглажен...*».[[22]](#footnote-22) Вспомним, однако, что мы видим перед собой города времен Екатерины II. «*На пути до Риги я не встретил ничего замечательного. Это город укрепленный, многолюдный, торговый, более похожий на немецкий или на шведский, нежели на русский. Я пробыл в нем несколько часов и скоро проехал 565 верст, отделяющих его от С.-Петербурга. Дорога была прекрасная; я проехал несколько красивых городов и много селений; везде на станциях были покойные гостиницы и давали хороших лошадей. Под серым небом, несмотря на стужу, доходившую до 25°, повсюду можно было видеть следы силы и власти и памятники гения Петра Великого. Счастливо и отважно победив природу, преобразил он эти холодные страны в богатые области и над этими вечными льдами распространил плодотворные лучи просвещения. Я был приятно поражен, когда в местах, где некогда были одни лишь обширные, бесплодные и смрадные болота, увидел красивые здания города, основанного Петром и сделавшегося менее чем в сто лет одним из богатейших, замечательнейших городов в Европе*».[[23]](#footnote-23) Сегюр невольно вспоминает Петра Первого, который все это основал, но это было много лет назад, и, следовательно, это все должно было как-то сохраняться. Само по себе так ничего и не осталось бы, да и народ по своей воле ничего не стал бы делать. Далее начинает вырисовываться образ Петербурга. Екатерина не только помнит и ценит своего предка, но и заботится о внешнем виде города. Граф Л.Ф.Сегюр, побывавший в Петербурге времен Екатерины Второй, был ошеломлен тем, что на одном и том же пространстве можно было одновременно встретить просвещение и варварство, следы 10 и 18 веков, Азию и Европу, скифов и европейцев. «*На одной из петербургских площадей Екатерина воздвигла бронзовое изваяние Петра Великого. Этот памятник работы талантливого Фальконета имеет подножием огромную гранитную скалу*».[[24]](#footnote-24) «*Деятельность Екатерины была беспредельна. Она основала академию и общественные банки в Петербурге и даже в Сибири. Россия обязана ей введением фабрик стальных изделий, кожевенных заводов, многочисленных мануфактур, литеен и разведением шелковичных червей на Украине. Показывая своим подданным пример благоразумия и неустрашимости, она при введении в России оспопрививания сама первая подверглась ему. По ее повелению министры ее заключили торговые договоры почти со всеми европейскими державами. В ее царствование Кяхта в отдаленной Сибири стала рынком русско-китайской торговли. В Петербурге учреждены были училища военного и морского ведомства для приготовления специально образованных офицеров. Училище, основанное для греков, ясно изобличало виды и надежды государыни. Она дала в Белоруссии приют иезуитам, которых в то время изгоняли из всех христианских стран. Она полагала, что при содействии их быстрее распространится просвещение в России, где водворение этого ордена казалось ей безвредным, так как в ее обширных владениях господствовала самая полная веротерпимость. Государыня снаряжала морские экспедиции в Тихий океан, в Ледовитое море, к берегам Азии и Америки. Екатерина в продолжение своего царствования превратила до 300 селений в города и установила судебный и правительственный порядок во всех областях империи. Двор ее был местом свидания всех государей и всех знаменитых лиц ее века. До нее Петербург, построенный в пределах стужи и льдов, оставался почти незамеченным и, казалось, находился в Азии. В ее царствование Россия стала державою европейскою. Петербург занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился на чреду престолов самых могущественных и значительных. Такова была славная монархиня, при которой я находился в качестве посла. После этого короткого очерка нетрудно представить себе, с каким тревожным чувством я ожидал дня, когда должен был предстать перед этой необыкновенной государыней и знаменитой женщиной*».[[25]](#footnote-25) И, наконец, само описание Петербурга. «*Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу. С одной стороны — модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой — купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с топорами, заткнутыми за ременными поясами. Эта одежда, шерстяная обувь и род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов, некогда грозных для римского мира. Изображения дикарей на барельефах Траяновой колонны в Риме как будто оживают и движутся перед вашими глазами. Кажется, слышишь тот же язык, те же крики, которые раздавались в Балканских и Альпийских горах и перед которыми обращались вспять полчища римских и византийских цезарей. Но когда эти люди на барках или на возах поют свои мелодические, хотя и однообразно грустные песни, то вспомнишь, что это уже не древние независимые скифы, а московитяне, потерявшие свою гордость под гнетом татар и русских бояр, которые, однако, не истребили их прежнюю мощь и врожденную отвагу*».[[26]](#footnote-26) «*Зимой снимают с карет колеса и заменяют их полозьями. Зимний санный путь по гладким, широким улицам всегда прекрасен, так ровен и тверд, как будто убит мельчайшим песком; ничто не может сравниться с быстротой, с которою едешь или, лучше сказать, катишься по улицам этого прекрасного города*».[[27]](#footnote-27) «*Когда я прибыл в Петербург, в нем под покровом европейского лоска еще видны были следы прежних времен. Среди небольшого, избранного числа образованных и видевших свет людей, ни в чем не уступавших придворным лицам блистательнейших европейских дворов, было немало таких, в особенности стариков, которые по разговору, наружности, привычкам, невежеству и пустоте своей принадлежали скорее времени бояр, чем царствованию Екатерины*».[[28]](#footnote-28) Как у всех царственных особ у Екатерины была летняя резиденция, которая также, как и все постройки того времени, отличалась великолепием и поражала своею красотой. «*Когда я приехал в Царское Село, императрица была так добра, что сама показывала мне все красоты своего великолепного загородного дворца. Светлые воды, тенистая зелень, изящные беседки, величественные здания, драгоценная мебель, комнаты, покрытые порфиром, лазоревым камнем и малахитом, — все это представляло волшебное зрелище и напоминало удивленному путешественнику дворцы и сады Армиды*».[[29]](#footnote-29) И, наконец, сама Москва. «*Вид этого огромного города, обширная равнина, на которой он расположен, и его огромные размеры, тысячи золоченых церковных глав, пестрота колоколен, ослепляющих взор отблеском солнечных лучей, это смешение изб, богатых купеческих домов и великолепных палат многочисленных, гордых бар, это кишащее население, представляющее собою самые противоположные нравы, различные века, варварство и образование, европейские общества и азиатские базары — все это поразило нас своею необычайностью. Впрочем, в эту первую мою поездку в Москву я успел только вскользь осмотреть ее: мы пробыли в ней только три дня. Екатерина показала нам свои дворцы в Петровском, Коломенском и Царицыне, городские сады и чудный водопровод, устроенный по ее распоряжению. После этого мы снова отправились до Боровичей через Тверь, Торжок и Вышний Волочек. Императрица, желая ознаменовать свое краткое пребывание в Москве благодеянием, увеличила городской доход и дала еще значительную сумму для учреждения больницы в здании, где прежде, при Анне и Елисавете, помещалась тайная канцелярия. В Твери она также оставила память по себе своими пожертвованиями. Тверь очень красивый город. При взгляде на толпу горожанок и крестьянок в их кичках с бусами, в их длинных, белых фатах, обшитых галунами, богатых поясах, золотых кольцах и серьгах можно было вообразить себе, что находишься на каком-нибудь древнем азиатском празднестве*».[[30]](#footnote-30)

«*Новая императрица не замедлила доказать своим подданным, что она выше всех опасений, — вернейшее средство удалить от себя всякую опасность. Ее управление было покойное и мягкое... Одно только возмущение временно нарушило внутренний мир России: дерзкий разбойник, донской казак Пугачев, приняв имя Петра III, поднял бунт, завлек толпу невежественных мужиков, перевешал множество дворян, был преследуем, поражен и, наконец, захвачен генералами Екатерины. Так как смертная казнь была изгнана из русского законодательства, то трудно было преклонить Екатерину предписать ее Пугачеву*».[[31]](#footnote-31) – Так описывает блистательное начало правления Екатерины. При её правление придворная жизнь да и сами придворные изменились. «*Императрица не была ни слаба, ни недоверчива, и всякий в ее царствование безопасно пользовался своим положением и саном, а потому для интриг не было цели и места при ее дворе. Вследствие того она могла спокойно заниматься делами внешней политики и исполнением обширных своих замыслов*».[[32]](#footnote-32) «*Кто постоянно счастлив и достиг славы, должен бы, кажется, сделаться равнодушным к голосу зависти и к злым, насмешливым выходкам, которыми мелкие люди действуют против знаменитостей. Но в этом отношении императрица походила на Вольтера. Малейшие насмешки оскорбляли ее самолюбие; как умная женщина, она обыкновенно отвечала на них улыбкою, но в этой улыбке была заметна некоторая принужденность. Она знала, что многие, особенно французы, считали Россию страною азиатскою, бедною, погрязшею в невежестве, во мраке варварства; что они с намерением не отличали обновленную, европеизированную Россию от азиатской и необразованной Московии. Сочинение аббата Шаппа, изданное, как думала императрица, по распоряжению герцога Шуазеля, еще было ей памятно, и ее самолюбие беспрестанно уязвлялось остротами Фридриха II, который часто со злою ирониею говорил о финансах Екатерины, о ее политике, о дурной тактике ее войск, о рабстве ее подданных и о непрочности ее власти. Зато государыня очень часто говорила нам о своей огромной* *империи и, намекая на эти насмешки, называла ее своим маленьким хозяйством: «Как вам нравится мое маленькое хозяйство? Не правда ли, оно понемножку устраивается и увеличивается? У меня не много денег, но, кажется, они употреблены с пользою?» Другой раз, обращаясь ко мне, она сказала: « — Я уверена, граф, что ваши парижские красавицы, модники и ученые теперь глубоко сожалеют о вас, что вы принуждены путешествовать по стране медведей, между варварами, с какой-то скучною царицей. Я уважаю ваших ученых, но лучше люблю невежд; сама я хочу знать только то, что мне нужно для управления моим маленьким хозяйством*».[[33]](#footnote-33) – Эти её слова ясно показывают, что она любит «свою» страну, страну, которой она должна управлять. И её чувства по отношению к России не изменялись на протяжении всего её правления.

**Екатерина II и народ.**

Она всегда помнит о своем народе, поэтому дает ему возможность встретиться с ней и высказать все свои недовольства и нужды. Это не может быть не замечено иностранцем, для которого это кажется дикостью, потому что никто в Европе не делает этого. «*Императрица, всегда верная своим привычкам, в Киеве, как и в других городах, дала великолепный бал. Я надеялся, что, будучи в свите императрицы, на этом длинном пути увижу разные заведения и постройки в местах, где мы останавливались. Обманутый в своих ожиданиях, я в порыве негодования необдуманно высказал, что мне досадно проехать так далеко для того только, чтобы видеть везде тот же двор, слушать все те же православные обедни и присутствовать на балах. Екатерина узнала об этом и сказала: «Я слышала, будто вы порицаете меня за то, что я во всех городах устраиваю аудиенции и празднества; но вот почему это так: я путешествую не для того только, чтоб осматривать местности, но чтобы видеть людей; я довольно знаю этот путь по планам и по описаниям, и при быстроте нашей езды я бы немного успела рассмотреть. Мне нужно дать народу возможность дойти до меня, выслушать жалобы и внушить лицам, которые могут употребить во зло мое доверие, опасение, что я открою все их грехи, их нерадение и несправедливости. Вот какую пользу хочу я извлечь из моей поездки; одно известие о моем намерении поведет к добру. Я держусь правила, что «глаз хозяйский зорок» (l'oeil du mattre engraisse les chevaux).[[34]](#footnote-34)*

К этим описаниям, я считаю, стоить добавить ещё несколько важных деталей. Во-первых, как некогда Петр Первый, она ввела много нового. Она хотела быть просвещенной царицей. Она повелела в прошениях заменить слово «раб» словом «верноподданный». «*В этом году императрица истребила старинный обычай, по которому просьбы на высочайшее имя писались так: бьет челом раб твой такой-то. Новым указом запрещено было употреблять это выражение, и велено слово раб заменить словом подданный*».[[35]](#footnote-35)

При её содействии в Петербурге открылся Смольный институт благородных девиц. Она одной из первых в России привила себе и своему наследнику оспу. При ней закончился раздел империи на губернии, управляемый губернаторами. Были определены сословия населения – дворяне, крестьяне, купечество и жители городов – мещане и ремесленники. «*В мае 1785 года, императрица издала знаменитый указ о дворянстве. Изложение этого законоположения заняло бы здесь слишком много места. Скажу только, что особенно замечательно показалось мне распределение дворян по классам, так что старинное дворянство причислено было к шестому, дворянство завоеванных областей к пятому, а пожалованное грамотами к двум первым. Вероятно, это было сделано с тою целью, чтобы показать, что приобретенные отличия предпочтительнее старинного титула. Этим же указом дворянам предоставлено было право заводить фабрики, собираться для совещаний и подавать прошения монарху*».[[36]](#footnote-36) Но это не единственный её указ. Очень важное место занимают и указы о купечестве, дворянстве и духовенстве. «*В этом же году императрица издала три новых указа: первые два обрадовали купцов и дворян, третий огорчил украинское и малороссийское духовенство, потому что ставил его в одинаковое положение с прочим духовенством империи и тем лишил его 200 000 душ крестьян, перешедших в казенное ведомство. По части торговли была учреждена комиссия из пяти русских и пяти иностранных негоциантов для рассмотрения и удовлетворения жалоб, представленных купцами правительству. Еще один указ касался дворян. Назначен был выпуск 33 миллионов банковых билетов, из коих 22 миллиона разрешено было раздать заимообразно дворянству за восемь процентов и на двадцатилетний срок, до погашения долга; к этим 22 миллионам присоединены были еще четыре миллиона, составлявшие фонд прежнего заемного банка. Остальные 11 миллионов назначены были для займа купцам наравне с дворянами: первым — под залог домов, вторым — под залог земель. Банку разрешено было чеканить в свою пользу медную монету и менять ее за границею на золото и серебро. Он должен был иметь во всякое время достаточное количество этой монеты, чтобы мена делалась в пользу России и чтобы предупредить лаж <убыток>. Всех банковых билетов указано выпустить не более как на один миллион. Князь Вяземский, говорят, горячо восставал против этой меры и написал по этому предмету целое рассуждение, но оно не понравилось императрице. Меня уверяли, будто в этой записке он старался доказать, что чрезмерное умножение ассигнаций подорвет кредит. В некоторых губерниях ассигнации-то уже упали или совсем вышли из обращения. Князь представлял, что дворянству, уже и без того обедневшему, представлялся новый повод к разорению. Наконец, он утверждал, что, распределив уплату на двадцатилетний срок, правительство потворствует ростовщикам, потому что они скупят эти билеты и пустят их впоследствии в оборот в свою пользу. Но представления князя не были уважены, потому что все члены совета ее величества ожидали себе выгод от успеха этого установления, так как с помощью его они могли уплатить свои долги. Вообще порицали этот указ все иностранные негоцианты. Они считали его необдуманным, дурно составленным и едва ли удобным к исполнению*».[[37]](#footnote-37)

Во-вторых, несмотря на её образованность и просвещенность, он так и не смогла истребить некоторые ошибки в устройстве страны. Например, вскрытие и чтение писем. Даже иностранный посол знает об этом, не говоря уже о населении этой страны. То есть можно сказать, что некотрые этим пользовались, некоторым это было на руку. Даже сам автор говорит об этом в своих записках. «*В ее империи, как и везде, чиновники раскрывали всякие письма и депеши. Это — обыкновение не только безнравственное, но и опасное по злоупотреблениям, к которым оно может подать повод. С другой стороны, оно довольно бесполезно, потому что все это знают и, следственно, пишут осторожно, а иные даже пользуются этим, чтобы понравиться разными обманчивыми похвалами. Но так как императрица вовсе, не желала, чтобы министры останавливали жалобы, ей приносимые, и заглушали голос правды, то она наказала бы со всею строгостию министра, который вздумал бы открыть письмо или какую-либо бумагу, посланную на ее имя*».[[38]](#footnote-38)

Но угождать людям высокопоставленным и занимающим хорошие посты и должности можно было не только через письма. Это можно было открыто, главное, чтобы твоя точка зрения не расходилась с точкой зрения лица, у которого ты ищешь расположения. Причем иногда это доходило до смешного. «*Мне нетрудно было узнать расположение главных министров: Воронцов, Остерман и Безбородко не скрывали своей приверженности к англичанам, и мои попытки сблизиться с ними ограничились чинным приемом и внешними выражениями вежливости. К тому же желание и необходимость угождать государыне приучили их сообразовывать свое поведение с ее намерениями и показывать ей, что они в политике, как и во всем другом, разделяют ее мнения. Но так как царедворцы в этом подобострастии доходят до крайности, то они выражали свое благорасположение и недоброжелательство с большею решительностью, нежели сама государыня. Императрица благоволила к послу австрийскому и к министру английскому, а потому и ее ближайшие советники были с ними в приязненных отношениях. Так как министры знали нерасположение государыни к французскому двору и неудовольствие ее по поводу поведения и насмешек прусского короля, то не сближались с графом Герцем и со мною и были всегда скорее готовы вредить нам, нежели услужить. Общество также отчасти следовало их примеру. Однако в Петербурге было довольно лиц, особенно дам, которые предпочитали французов другим иностранцам и желали сближения России с Франциею. Это расположение было мне приятно, но не послужило в пользу. Петербург в этом случае далеко не походит на Париж: здесь никогда в гостиных не говорили о политике, даже в похвалу правительства. Недовольные из жителей столицы высказывались только в тесном, дружеском обществе; те же, кому это было стеснительно, удалялись в Москву, которую, однако, нельзя назвать центром оппозиции — ее нет в России, — но которая действительно была столицею недовольных».[[39]](#footnote-39)*

**Жизнь народа.**

Обратим же наши взгляды к народу. Даже невооруженный глаз иностранца замечает недостатки и препятствия для страны в её развитии, связанные с наличием крепостного права в стране. Жизнь простого народа скудна на события и до невозможного бедна. Богатые же тратят много средств на пустые ненужные вещи. И между ними такая пропасть, что в нее может провалиться вся страна. Страна, такая огромная, как Россия. «*Когда разговор зашел об огромности Русской Империи, о разнообразии ее обитателей и о множестве препятствий, которые должны были преодолеть Петр и его наследники для просвещения стольких разнообразных племен, то государыня рассказала нам о своей поездке по берегам Волги. «В тех местах,— говорила она, — такое изобилие всего, что успехи промышленности по необходимости должны быть медленны; там не знают нужды, которая одна только может подстрекнуть народ к труду. Если даже прибрежные жители этой большой реки будут пренебрегать обрабатыванием своих полей и многочисленными стадами, то и тогда одна рыбная ловля не даст им умереть голодною смертью. Мне случилось видеть, что сто двадцать человек наедались досыта стерлядями, которые все вместе стоили не более 35 копеек».[[40]](#footnote-40)* Итак, как же живет простой русский народ? Самое первое, что попадается на глаза, это набожность народа.. Сама Екатерина очень набожна, что не могло не подать примера и крестьянам. Жилища их бедны, жизнь их – труд, тяжелый и долгий. Их покровитель – господин, помещик, от которого они зависят. Сам Сегюр говорит, что он бы их жизни не позавидовал. «*Их сельские жилища напоминают простоту первобытных нравов; они построены из сколоченных вместе бревен; маленькое отверстие служит окном; в узкой комнате со скамьями вдоль стен стоит широкая печь. В углу висят образа, и им кланяются входящие прежде, чем приветствуют хозяев. Каша и жареное мясо служат им обыкновенною пищею, они пьют квас и мед; к несчастью, они, кроме этого, употребляют водку, которую не проглотит горло европейц… Так как у низшего класса народа в этом государстве нет всеоживляющего и подстрекающего двигателя — самолюбия, нет желания возвыситься и обогатиться, чтобы умножить свои наслаждения, то ничего не может быть однообразнее их жизни... ограниченнее их нужд и постояннее их привычек. Нынешний день у них всегда повторение вчерашнего; ничто не изменяется; даже их женщины, в своей восточной одежде, с румянами на лице (у них даже слово красный означает красоту), в праздничные дни надевают покрывала с галунами и повойники с бисером, доставшиеся им по наследству от матушек и украшавшие их прабабушек. Русское простонародье, погруженное в рабство, не знакомо с нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторою степенью внешнего довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо; оно удовлетворяет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов».[[41]](#footnote-41)*Разнообразна и ярка жизнь помещиков. Каждый день приносит какое-нибудь новое развлечение. Просвещение не знает границ, почти все говорят на французском, хотя намного хуже знают свой собственный язык. Но, несмотря на это, по словам автора, они не забывают о своих подопечных, о людях, которые работают на них. Они не угнетают их слишком, даже жалеют и сочувствуют иногда. «*Богатые купцы в городах любят угощать с безмерною и грубою роскошью: они подают на стол огромнейшие блюда говядины, дичи, рыбы, яиц, пирогов, подносимых без порядка, некстати и в таком множестве, что самые отважные желудки приходят в ужас. Помещики в России имеют почти неограниченную власть над своими крестьянами, но, надо признаться, почти все они пользуются ею с чрезвычайною умеренностью; при постепенном смягчении нравов подчинение их приближается к тому положению, в котором были в Европе крестьяне, прикрепленные к земле (servitude de la glebe). Каждый крестьянин платит умеренный оброк за землю, которую обрабатывает, и распределение этого налога производится старостами, выбранными из их среды… Другого рода роскошь, обременительная для дворян и грозящая им разорением, если они не образумятся, это — многочисленная прислуга их. Дворовые люди, взятые из крестьян, считают господскую службу за честь и милость; они почитали бы себя наказанными и разжалованными, если бы их возвратили в деревню. Эти люди вступают между собою в браки и размножаются до такой степени, что нередко встречаешь помещика, у которого 400 и до 500 человек дворовых всех возрастов, обоих полов, и всех их он считает долгом держать при себе, хоть и не может занять их всех работой. Не менее того удивил меня другой обычай, введенный тщеславием: лица чином выше полковника должны были ездить в карете в четыре или шесть лошадей, смотря по чину, с длиннобородым кучером и двумя форейторами. Когда я в первый раз выехал таким образом с визитом к одной даме, жившей в соседнем доме, то мой форейтор уже был под ее воротами, а моя карета еще на моем дворе!*

*Я уже говорил, с какою умеренностью русские помещики пользуются своею, по закону неограниченною, властью над своими крепостными. Во время моего долгого пребывания в России многие примеры привязанности крестьян к своим помещикам доказали мне, что я насчет этого не ошибся. В числе многих подобных примеров, на какие я бы мог указать, ограничусь одним. Обер-камергер граф, наделав больших долгов, вынужден был для их уплаты продать имение, находившееся в трехстах или четырехстах верстах от столицы. Однажды утром, проснувшись, он слышит ужасный шум у себя на дворе; шумела толпа собравшихся крестьян; он их призывает и спрашивает о причине этой сходки. «До нас дошли слухи, — говорят эти добрые люди, — что вашей милости приходится продавать нашу деревню, чтобы заплатить долги. Мы спокойны и довольны под вашею властью, вы нас осчастливили, мы вам благодарны за то и не хотим остаться без вас. Для этого мы сделали складчину и поспешили поднести вам деньги, какие вам нужны; умоляем вас принять их». Граф, после некоторого сопротивления, принял дар, с удовольствием сознавая, что его хорошее обращение с крестьянами вознаградилось таким приятным образом. Тем не менее эти люди достойны сожаления, потому что их участь зависит от изменчивой судьбы, которая, по своему произволу, подчиняет их хорошему или дурному владельцу. Эта истина не нуждается в доказательствах; несмотря на то, я не могу не вспомнить кстати анекдот, который показал мне, до какой степени неограниченная власть помещика, предающегося своим страстям, может оскорблять невинность, слабость и добродетель, которым нет никакой опоры в законах. Случай этот покажет, какой опасности могут подвергаться даже иностранцы свободные, но неизвестные, по несчастным обстоятельствам принужденные служить в стране, где господствует рабство. Они неожиданно могут стать наряду с самыми угнетенными рабами и не найдут защиты в самом сильном покровителе».[[42]](#footnote-42) Для полнейшего описания жизни этих двух сословий стоит добавить ещё несколько строк из записок Сегюра. «Когда переходишь от этой невежественной части русского населения, еще коснеющей во тьме средних веков, к сословию дворян богатых и образованных, то внимание поражается совершенно иным зрелищем. Здесь я должен напомнить, что изображаю русское общество так, как оно было за сорок лет перед этим. С тех пор оно изменилось, улучшилось во всех отношениях. Русская молодежь, которую война и жажда познаний рассеяли по всем европейским городам и дворам, показала, до какой степени усовершенствовались искусства, науки и вкус в государстве, которое в первую пору царствования Людовика XV считалось необразованным и варварским.*

*Но это различие оказывалось только по тщательном наблюдении; во внешности оно не было заметно. С полвека уже все привыкли подражать иностранцам — одеваться, жить, меблироваться, есть, встречаться и кланяться, вести себя на бале и на обеде, как французы, англичане и немцы. Все, что касается до обращения и приличий, было перенято превосходно. Женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить много нарядных дам, девиц, замечательных красотою, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших романистов Франции, Италии и Англии. Между тем мужчины, исключая сотню придворных, каковы, например, Румянцевы, Разумовские, Строгановы, Шуваловы, Воронцовы, Куракины, Голицыны, Долгоруковы и прочие, большею частью были необщительны и молчаливы, важны и холодно вежливы и, по-видимому, мало знали о том, что происходило за пределами их отечества. Впрочем, обычаи, введенные Екатериною, придали такую приятность жизни петербургского общества, что изменения, произведенные временем, могли только вести к лучшему. Кроме праздничных дней, обеды, балы и вечера были немноголюдны, но общество в них было непестрое и хорошо выбранное; они не были похожи на пышные наши рауты, где царствует скука и беспорядок. Одежда, занятая у французских придворных, была менее покойна, чем фраки, сапоги и круглые шляпы, но она поддерживала приличие, любезность и благородство в обращении. Так как все обедали рано, то время после полудня было посвящено исполнению общественных требований, обычным визитам и съездам в гостиных, где ум и вкус образовывались приятным и разнообразным разговором. Это напоминало мне то веселое время, которое я проводил в парижских гостиных. Но слишком частые и неизбежные празднества не только при дворе, но и в обществе показались мне слишком пышными и утомительными. Было введено обычаем праздновать дни рождения и именины всякого знакомого лица, и не явиться с поздравлением в такой день было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но принимали всех, и все знакомые съезжались. Можно себе представить, чего стоило русским барам соблюдение этого обычая: им беспрестанно приходилось устраивать пиры.*

*Впрочем, я считаю нужным повторить, что общественные нравы и мудрые намерения Екатерины и двух ее преемников сделали для образования почти столько же хорошего, сколько могли произвесть дельные законы. Во время пятилетнего моего пребывания в России я не слыхал ни одного случая жестокости и угнетения. Крестьяне действительно живут в рабском состоянии, но с ними хорошо обращаются. Нигде не встретишь ни одного нищего, а если они попадаются, их отсылают к владельцам, которые обязаны их содержать; сами же дворяне хотя и подчинены неограниченной власти, но пользуются, по своему положению и уважению к ним общества, гораздо большим значением, чем во всех прочих, даже конституционных, странах Европы. Екатерина дала дворянству право выборов, и каждая губерния выбирает своих предводителей и судей. Все военные и гражданские должности находятся в их руках. Недостает только прочных законов, которые обеспечивали бы права престола, права дворянства и постепенное улучшение быта крестьян...*».*[[43]](#footnote-43)*

**Жизнь иностранцев в России.**

На этом фоне очень контрастно выделяется жизнь иностранцев. Я считаю, что в положении Екатерины, она не могла большего сделать для крестьян, сколько для помещиков и дворян, так как они и были её главной опорой. Но, привлекая иностранцев, она думала, что это поможет ей развивать страну и прийти, наконец, к подобию Европы. Поэтому, чтобы заинтересовать иностранцев в России, она создает великолепные условия для их жизни здесь. «*Иностранцы принимаются в России с самым внимательным гостеприимством. Никогда я не забуду приема, не только любезного, но и радушного, сделанного мне блестящим петербургским обществом. В короткое время знакомство с истинно достойными людьми и с любезными дамами заставило меня забыть, что я у них чужой... Трудно было бы найти женщину добродушнее и умнее графини Салтыковой; как искренно и непритворно добры были графини Остерман, Чернышева, Пушкина, госпожа Дивова; в Париже все любовались бы красотою и прелестью княжны Долгоруковой и ее матери, княгини Барятинской, графини Чернышевой, прелестной графини Скавронской, головка которой могла бы служить для художника образцом головы Амура. Молодые Нарышкины, графиня Разумовская, уже немолодая, фрейлины, украшение дворца императрицы, привлекали к себе взгляды и похвалы. Бывало, нехотя покидаешь умный разговор графини Шуваловой или оригинальную и острую беседу госпожи Загряжской (Zagreski).*

*Во всех столицах европейских, исключая однако Париж и Лондон, ввелось в обычай, что иностранные послы и министры (которых — не знаю почему — разумеют под именем дипломатического корпуса, тогда как члены этого тела всегда разъединены и не согласны между собою) делаются душою общества того города, где живут. Они обыкновенно деятельнее, нежели местные вельможи, оживляют общество, потому что держат открытые дома и часто дают роскошные обеды, блистательные пиры и балы. В то время, как я находился в Петербурге, дипломатический корпус составляли люди, достойные уважения во многих отношениях. Они оживляли и веселили петербургское общество. Австрийский посол граф Кобенцель, впоследствии заслуживший известность в Париже при Наполеоне, своею любезностью, живым разговором и постоянною веселостью заставлял всех забывать его необыкновенно неприятную наружность. Прусский министр граф Герц, более важный, но едва ли не более пылкий, заставлял любить и уважать себя за чистосердечие и живость, благодаря которой его глубокая ученость никогда не доходила до педантства. Его оживленный разговор всегда был занимателен и никогда не истощался. Фитц-Герберт, впоследствии лорд Сент-Еленс, с чувствительной душой и британскою причудливостью соединял всю прелесть самого образованного ума. Искусный и тонкий дипломат, постоянный в своих чувствах, всегда благородный и великодушный, он был лучший друг и вместе опаснейший соперник. На политическом поприще мы в продолжение нескольких лет старались вредить друг другу; но как частные люди мы были в самых дружественных отношениях между собою, что равно удивляло и русских, и наших соотечественников. Барон Нолькен, шведский министр, и Сен-Сафорен (Saint Saphorin), министр датский, пользовались также всеобщим уважением, как люди скромные, общительные и образованные. Неаполитанский министр, герцог Серра-Каприола, нравился всем своим добродушием и веселостью. Красавицу жену его убил суровый климат, к которому он сам, однако, так привык, что поселился в России и женился на дочери князя Вяземского, одного из значительнейших лиц при дворе Екатерины. Я не буду распространяться о голландском посланнике бароне Вессенере — его пребывание в Петербурге было кратковременным и незаметным и кончилось расстроившимся сватовством с довольно скандальными подробностями*». *[[44]](#footnote-44)* «…*По указу императрицы он получил восемнадцать миллионов для скорейшего совершения предприятий, начатых им в южном крае. Иностранцам, которые пожелали бы селиться в тех местах, обещана была свобода от платежа податей на пять лет*».[[45]](#footnote-45)

**Доверчивость русского народа.**

Заметна также и доверчивость русского народа. Они верят иностранцам, как будто те не люди и не могут обмануть. Я не могу поспорит с тем, что они намного порядочнее некоторых наших граждан, но нельзя же доверяться им полностью. «Правда, что тогда в Россию приезжало множество негодных французов, развратных женщин, искателей приключений, камер-юнгфер, лакеев, которые ловким обращением и уменьем изъясняться скрывали свое звание и невежество. Но этому не было виною наше правительство. Все эти люди никем не были покровительствуемы, не имели никаких бумаг, кроме паспортов, которые повсюду выдаются лицам низших сословий, если они не преступники и покидают отечество, с тем чтобы торгом или трудом добыть в чужом краю средства существования. Скорее можно было винить самих русских, потому что они с непонятною беспечностью принимали к себе в дома и даже доверяли свои дела людям, за способности и честность которых никто не ручался. Любопытно и забавно было видеть, каких странных людей назначали учителями и наставниками детей в иных домах в Петербурге и особенно внутри России. Если иногда обман открывался и таких господ выгоняли, сажали в тюрьму или ссылали, то они не могли жаловаться французскому посланнику: он не обязан был оказывать им покровительства». *[[46]](#footnote-46)* Отношение же иностранцев, за исключением некоторых лиц, было пренебрежительным. Они считали, а некоторые и до сих пор считают, что Россия – это белые заснеженные просторы, холода, и медведи, а также невежество и хождение на четверых ногах. Возможно, это представление было связано с многолетним отставанием в развитии экономики и культуры. Здесь, я считаю, что к причинам такого развития стоит добавить присутствие крепостного права на Руси, многолетние завоевание Руси монголо-татарами и бесконечные войны со Швецией и кавказскими народами. Для Европы, защищенной от многих напастей, который принимала на себя Россия, это было странно. Сегюр же признает всю красоту российской земли, всю её ширь, всё её величие даже в морозные дни. «*Первая часть этого путешествия, начатого холодною зимою, не может быть обильна описаниями. Достаточно сказать, что мы проезжали по обширным снежным равнинам, чрез леса сосен и елей, которых ветви, опушенные инеем, порою при солнечном освещении блистали брильянтами и кристаллами. Можно себе представить, какое необычайное явление представляли на этом снежном море дорога, освещенная множеством огней, и величественный поезд царицы Севера со всем блеском самого великолепного двора. В городах и деревнях этот одинокий путь покрывался толпами любопытных горожан и поселян: они, не замечая стужи, громкими криками приветствовали свою государыню.*

*Екатерина решилась остаться три дня в Смоленске. Это отдалило наше прибытие в Киев, где нас ожидало множество приезжих со всех сторон Европы. Государыня, помолившись в соборе, удалилась в свой дворец. Но на другой день она принимала дворянство, городские власти, купечество, духовенство, а вечером дала пышный бал, на котором было до трехсот дам в богатых нарядах; они показали нам, до какой степени внутри империи дошло подражание роскоши, модам и приемам, которые встречаешь при блистательнейших дворах европейских. Наружность во всем выражала образование, но за этим легким покровом внимательный наблюдатель мог легко открыть следы старобытной Московии».[[47]](#footnote-47)* Признавая всё это,он считает нужным привести, на мой взгляд, довольно забавный случай, который рассказала ему сама императрица. «*«Господин де ла Ривиер, — рассказывала императрица, — недолго собирался и по приезде своем немедленно нанял три смежных дома, тотчас же переделал их совершенно и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих — комнаты для присутствия. Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империею и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи пребольшими буквами: Департамент внутренних дел, Департамент торговли, Департамент юстиции, Департамент финансов, Отделение для сбора податей и пр. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представили как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей соответственно их способностям. Все это наделало шуму в Москве, и так как все знали, что он приехал по моей воле, то нашлись доверчивые люди, которые уже заранее старались к нему подделаться. Между тем я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но только честолюбие немного помутило его разум. Я, как следует, заплатила за все его издержки, и мы расстались довольные друг другом. Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель, но несколько пристыженный как философ, которого честолюбие завело слишком далеко». На этот же случай намекала Екатерина, когда писала к Вольтеру: «Г. де ла Ривиер приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился приехать из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах».[[48]](#footnote-48)*

Записки Сегюра уделяют много внимания путешествию в Киев. Может быть потому, что здесь также проявляется характер императрицы, как и при дворе. Она не изменяет своим привычкам: встает в 6 утра, занимается, потом принимает послов и вельмож, выслушивает их просьбы, обедает, прекрасно проводит время в кругу своих друзей. Считаю, что стоит особое внимание обратить на слово «друзья», потому что, как я уже говорила, для неё не имеет значения пост или должность человека, важен сам человек. При этом она остается непринужденною и отодвигает придворный этикет, ведя себя как обычная женщина. «*Раз или два в неделю императрица имела собрание при дворе и давала большой бал или прекрасный концерт. В прочие дни стол ее накрывался на восемь или на десять приборов. Трое послов, ее сопровождавших, были ее постоянными гостями, также князь де Линь и иногда принц Нассау. Вечера мы всегда проводили у нее, в это время она не терпела принуждения и этикета, мы видели не императрицу, а просто любезную женщину. На этих вечерах рассказывали, играли в бильярд, рассуждали о литературе. Однажды государыне вздумалось учиться писать стихи. Целые восемь дней я объяснял ей правила стихосложения. Но когда дошло до дела, то мы заметили, что совершенно напрасно теряли время. Нет, я думаю, слуха, столько не чувствительного к созвучию стиха. Ум ее, обширный в политике, не находил образов для воплощения мечты. Он не выдерживал утомительного труда прилаживать рифмы и стихи. Она уверяла, что попытки ее в этом роде будут так же неудачны, как попытки славного Малебранша, который говорил, что, сколько ни старался, не мог сочинить более двух стихов…Общество в Киеве представляло три различные картины. У императрицы можно было видеть то великолепнейший двор, то самый тесный кружок. Дом, где жили Кобенцель, Фитц-Герберт и я и где мы принимали и русских, и иностранцев, принял вид какой-нибудь европейской кофейни, которая была всегда полна и в которой сходились разноплеменные люди; здесь раздавалась речь на различных языках и употреблялись блюда, фрукты и вина разных стран. Время проходило в общей беседе или в частных толках о разных предметах — от важнейших до самых обыкновенных».[[49]](#footnote-49)*

Несколько войн с Турцией завершились победой русского оружия. Турки потерпели сокрушительное поражение на море. В Чесменской бухте был уничтожен весь их флот. Князь Потемкин завоевал Молдавию и Крым.

Воспользовавшись внутренними распрями в Польше, Екатерина II договорилась с Пруссией и Австрией о её разделе и присоединила к Российской империи часть Польши, Белоруссию и Украину. «*Несмотря на все усилия саксонского двора, она восстановила власть Биронов в Курляндии. Она успела употребить честолюбие других монархов в свою пользу: так, когда она увидела, что король, которого она дала Польше, не способен быть самостоятельным и не довольно уступчив, чтобы служить ее намерениям, она разделила со своими союзниками эту страну и увеличила свои владения. С другой стороны, успешно шествуя по пути, предначертанному Петром Великим, она победила турок, невежественный народ, некогда грозный для Европы, и падение Порты было остановлено только несогласием христианских монархов. 500 000 турок были вооружены против нее; половина этого войска была истреблена славными победами Румянцева и Репнина. Удивленная Европа видела, как русский флот прошел через океан и Средиземное море, пробудил покоившуюся во прахе Спарту, возвестил грекам свободу и взорвал мусульманский флот в Чесменском заливе; наконец, великий визирь был осажден Румянцевым в Шумле, и тень Петра Великого отомщена. Султан, побежденный и принужденный согласиться на постыдный мир, уступил русским Новую Сербию, Азов, Таганрог, дозволил им свободное плавание по Черному морю и признал независимость Крыма. Вслед за тем Екатерина отняла у Сагим-Гирея этот полуостров, овладела течением Кубани и покорила остров Тамань. На пути к этим завоеваниям войска ее встретили запорожцев, которые обитали на островах при Днепровских порогах. Они составляли общину из казаков-выходцев и жили грабежом и добычею, захваченною то у турок, то у поляков, то у татар. Казаки эти грабили иногда и русских, хотя признавали над собою власть русского царя и со времени... измены... Мазепы должны были иметь гетманов, назначаемых русским правительством. В этой странной и воинственной общине не было женщин. Пленницы, захваченные в набегах, бережно охранялись в станах, вне Сечи, и не могли перейти границы Запорожской земли. Когда эти несчастные жертвы насилия рождали детей, то мальчиков отцы брали к себе на острова, а девочек изгоняли вместе с их матерями. Запорожцев легче было истребить, нежели покорить. Из них образовали матросов для черноморского флота, заведенного при Екатерине… Таковы были счастливые войны и возрастающие завоевания императрицы, когда я прибыл к ее двору. После того и уже в последние годы ее царствования, снова торжествуя над турками, она сожгла их флот в устье Днепра, отняла у них Очаков, покорила Грузию, покрыла войсками Молдавию, взяла Хотин, Бендеры, Измаил и одержала несколько побед, в которых погибло более 40000 турок. По Ясскому миру в 1792 году Днестр был назначен границею и за Россией упрочено владение Кавказом. Екатерина, присвоив себе Грузию, распространила свои владения до пределов Персии. Польша после вторичного раздела потеряла свою независимость. Курляндия стала русскою областью… Между тем как войска Екатерины распространяли ее славу и владения, она деятельно занималась мерами преобразований в управлении государством и развитием народного образования. Русские законы представляли хаос: государи издавали новые законы, не уничтожая старых; судьи, не имея ни правил, ни начал, которыми бы могли руководствоваться, судили произвольно. Екатерина, желая устранить этот беспорядок, учредила правильные суды и старалась ввести единство в судопроизводстве. Движимая великодушием, созвала она в Москву выборных со всех областей своей обширной империи, чтобы совещаться с ними о законах, которые намеревалась издать. Когда они собрались, им прочтено было введение к Уложению, предложенному императрицею. Эта книга, пользующаяся такой известностью, была переведена на русский язык, но первоначально написана по-французски рукою Екатерины. Мне показывали ее в петербургской библиотеке, и мне приятно было увидеть, что это было довольно полное извлечение из бессмертного Монтескье. Но собрание депутатов, столь новое и неожиданное, не оправдало тех надежд, которые оно пробудило, потому что члены его большей частью удалялись от цели, предначертанной правительством. Выбранные от Самоедов, дикого племени, подали мнение, замечательное своей простодушной откровенностью. «Мы люди простые, — сказали они, — мы проводим жизнь, пася оленей; мы не нуждаемся в Уложении. Установите только законы для наших русских соседей и наших начальников, чтобы они не могли нас притеснять; тогда мы будем довольны, и больше нам ничего не нужно». Между тем, вследствие слухов о прениях, крепостные некоторых вельмож, побуждаемые надеждой на свободу, начали во многих местах волноваться. Собрание было распущено, и императрица должна была одна заняться составлением законов. Она издала несколько законоположений, имевших предметом правосудие и управление, но не могла совершить тех великих преобразований, для успеха которых нужны благоприятная среда, обычаи, сообразные цели законодателя, и стечение многих особенных обстоятельств. Нередко Екатерина, с гордостью удовлетворенного самолюбия, говорила мне о двух указах, которые она высоко ценила: один из них — дворянская грамота, а другой — об отмене дуэлей. Цель обоих указов была и благородна, и нравственна; но первый из них не предоставлял дворянству полной свободы, а второй был часто нарушаем из предрассудка point d'honneur. (дело чести — фр.)».[[50]](#footnote-50)*

Это и есть то немногое, что увидел иностранец, приехавший в Россию по своим делам. Но, на мой взгляд, этого вполне достаточно, чтобы представить перед глазами Россию времен правления Екатерины II, да и саму правительницу, прославившую эту страну как это некогда сделал Петр I.

Напоследок стоит добавить ещё несколько слов об императрице. «*Опасности ее положения увеличивались еще вследствие того, что Елизавета, слабая здоровьем в последние годы своей жизни и не ладившая с племянником, сосредоточивала всю свою привязанность на своем внуке. Двор был предан интригам: каждый день честолюбцы составляли новые замыслы — одни, надеясь приобрести влияние на наследника, другие, стараясь овладеть умом великой княгини. Наконец, один хитрый и смелый министр задумывал похитить скипетр у великого князя и, передав его в руки его малолетнего сына и освободив дворянство, от имени ребенка управлять государством… Между тем она, поставленная среди стольких опасностей и вынуждаемая ими, со своей стороны, прибегнуть к приемам честолюбивой политики, нашла возможность составить себе большой круг друзей. Вельможи были очарованы ее привлекательною ласковостью; народ, видя ее доброту, благотворительность и набожность, полюбил ее. Все духовенство возлагало на нее свои надежды приобрести влияние. Напротив того, Петр III возбудил к себе нерасположение русских военных своим пристрастием к прусской армии и ее вождю-герою. Увлекаемый своим энтузиазмом, он дошел до того, что принял какую-то должность в войсках Фридриха, которого называл своим генералом... Совершился переворот, вследствие которого Екатерина стала государыней великой империи... Царствование ее было блистательное. Де Линь имел право сказать, что она, будучи человеколюбива и великодушна, как Генрих IV, была величава, добросердечна и счастлива в войнах, как Людовик XIV; она соединяла в себе свойства обоих государей. Фридрих Великий, когда еще был с нею в приязненных отношениях, часто хвалил ее. «Многие государыни, — говорил он, — заслужили славу: Семирамида**— победами, Елисавета английская — ловкою политикою, Мария-Терезия — удивительною твердостью в бедствиях, но одна только Екатерина заслуживает наименование законодательницы*».*[[51]](#footnote-51)*

Записки Сегюра заканчиваются словами: «*Уму человеческому не суждено предвидеть происшествий самых близких. В то время никто не думал о последствиях легких смут, тогда волновавших Францию. Все, напротив того, полагали, что ее внутренние беспокойства, происшедшие от дурного состояния финансов, ослабят вес ее в европейских делах, так что всех тревожил один лишь Восток. Двор Екатерины становился средоточием политики, к нему обращены были взоры всех государственных людей. Екатерина II, при всей проницательности своего ума, жестоко ошибалась тогда насчет положения французского правительства, которому предвещала она славу и счастие*».*[[52]](#footnote-52)*

**Смерть императрицы.**

Умерла Екатерина II в Царском Селе. Первый удар случился с ней, когда она два часа в мантии и с короной на голове ожидала ответа шведского короля Густава IV на её предложение жениться на её внучке и получила неожиданный отказ. Увидев вечером падающую звезду, Екатерина сказала сопровождающим её спутникам: «Вот вестница скорой смерти моей». В день смерти Екатерина выпила две чашки крепкого кофе, уже давно запрещенного ей врачами. После утренней беседы с секретарями она вышла в гардероб. Когда спустя полчаса камердинер заглянул туда, он увидел Екатерину, лежащей на полу без сознания. Она скончалась от удара спустя четыре часа, не приходя в себя.

Екатерина II одна из немногих русских самодержавцев, оставшихся в народной памяти. Её имя можно поставить в один ряд с именами Вещего Олега, Владимира Кранное Солнышко, Ивана Грозного и Петра Первого. И народная память, и историческая традиция сохранили за ней прозвище Екатерина Великой.

**Приложение**

**ИСТОРИЯ И АНЕКДОТЫ РЕВОЛЮЦИИ**

**В РОССИИ В 1762 Г.**

**де Рюльер**

**ИСТОРИЯ И АНЕКДОТЫ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ В 1762 Г.**

В то же время императрица уведомляла министров тех дворов, коих союз нарушил император, что она ненавидит такое вероломство и находится принужденною просить у них денег, в которых начинала она нуждаться. Сии министры, и особенно французский, барон Брейтель, привыкшие с давних лет управлять умами сей нации, в теперешнем переломе общественных дел старались споспешествовать намерениям, в которые увлекали императора враги их государей. Они немедленно воспользовались средством, которое подавал к тому сей заговор; и хотя им предписано было от дворов не принимать особенного участия в сих движениях, однако они деятельно и успешно старались доставить императрице всех своих участников. Напротив, министры, друзья императорские, всячески старались ускорить отъезд его, в угодность ему предавались изнурительным удовольствиям двора, и между тем как им расставляли везде сети, они восхищались успехами своей деятельности, видя проходящие со всех сторон войска, готовый выступить в море флот, императора, усиленного всеми способами своей империи, и уже назначенный день своего отъезда.

И так составилась многочисленная партия и надежные средства, между тем как в минуту наступившей опасности казалось, что у них никакого еще плана нет к сему заговору. Знающие хорошо русскую нацию и прежних заговорщиков уверяют, что такого рода предприятия должны всегда так производиться, и хотя сей народ весьма способен к возмущениям по образу своего правления, по враждебному расположению к тайному и по самому терпенью в наказаниях, по причине непримиримой вражды, гнездящейся во всех фамилиях, и крайней недоверчивости их друг к другу, неблагоразумно было бы собирать тут общество заговорщиков, которые раздробили бы на разные части исполнение одного намерения; притом же привычка видеть, как часто восходят из самых низких состояний на первые степени, давала каждому право на ту же надежду; следственно, было бы опасно указывать на главные лица, которых будущее величие могло бы возбудить в них зависть, а надлежало, уверившись в каждом порознь, подавать им надежду на величайшую милость и не прежде их соединять, как в самую минуту исполнения. Если бы желали убийства, тотчас было бы исполнено и гвардии капитан Пассик лежал бы у ног императрицы, прося только ее согласия, чтобы среди белого дня в виду целой гвардии поразить императора. Сей человек и некто Баскаков, его единомышленник, стерегли его дважды подле пустого и того самого домика, который прежде всего Петр Великий приказал построить на островах, где основал Петербург и который посему русские с почтением сохраняют; это была уединенная прогулка, куда Петр III хаживал иногда по вечерам со своею любезною и где сии безумцы стерегли его из собственного подвига. Отборная шайка заговорщиков под руководством графа Панина осмотрела его комнаты, спальню, постель и все ведущие к нему двери. Положено было в одну из следующих ночей ворваться туда силою, если можно, увезти; будет сопротивляться, заколоть и созвать государственные чины, чтобы отречению его дать законный вид, а императрица, которая бы, казалось, не принимала ни малейшего участия в сем заговоре, отдаляя всякое на себя подозрение, долженствовала для виду уступать только просьбе народной и принять по добровольным и единодушным восклицаниям права, ни с какой стороны ей не принадлежащие. Таково было основание ее поведения, следствием которого было то, что она, будучи почти невидима в заговоре, действовала всеми его пружинами и даже после очевидных опытов, в которых она по необходимости себя обнаруживала, старалась направлять умы на прежнюю точку зрения. Император был в деревне за 12 миль. Императрица, избегая подозрений, если бы осталась в городе во время его отсутствия, удалилась сама в другую. Срок отъезда императора на войну положен был по его возвращении, а императрица назначила в то же время исполнение своего заговора; но сумасбродная ревность того самого капитана Пассика все разрушила. Этот неистовый соучастник, неумеренный в своих выражениях, говорил о злоумышлении пред одним солдатом, которого недавно побил. Сей тотчас донес на него в полковой канцелярии, и 8 июля в 9 часов вечера Пассик был арестован, а к императору отправлен тотчас же курьер.

Без предосторожности пиемонтца Одара, которая втайне была известна только ему и княгине Дашковой, все было бы потеряно.

Близ каждого начальника места находился шпион, который не упускал его из виду. В четверть десятого княгиню уведомили, что Пассик был арестован. Она послала за графом Паниным и предложила в ту же минуту начать исполнение — предложение такое точно, какое настоящие римляне некогда сделали в подобном заговоре: «Надобно взбунтовать вдруг народ и войско и собрать злоумышленников; неожиданность поразит умы, овладеет большею частью оных; император совсем не приготовлен к отражению сего удара; нечаянное нападение изумляет самых отважных, да и что мог противопоставить им сей Дон-Кишот с шайкою развратников? Вещи, невозможные здравому рассуждению, выполняются единственно по отважности, и как сохранить тайну между пораженными ужасом заговорщиками? Верность присяге устоит ли между казнью и наградами? Чего было ожидать? Смерть была неминуема, и смерть постыдная. Не лучше ли было погибнуть за свободу отечества, умоляя его о помощи, погибнуть от ошибки солдат и народа, если .они откажутся помогать, но быть достойным и своих предков, и бессмертия?»

Римский заговорщик не последовал сему совету и умер от руки палача. Русский думал также, что поспешное открытие испортило бы все дело; если бы и успели взбунтовать весь Петербург, то сие было бы не что иное, как начало междоусобной войны, между тем как у императора в руках военный город, снаряженный флот, 3000 собственных голштинских солдат и все войска, проходившие для соединения с армией; ночь никак не благоприятствовала исполнению, ибо в сие время оные бывают ясны; императрица в отсутствии и не может приехать прежде утра; надлежало подумать о следствиях, и не поздно было бы условиться в исполнении оного на другой день. Так думал граф Панин, по своей медлительности, и лег спать.

Княгиня Дашкова выслушала и ушла. Уже была полночь. Сия 18-летняя женщина одевается в мужское платье, оставляет дом, идет на мост, где собирались обыкновенно заговорщики. Орлов был уже там со своими братьями. Любопытно видеть, как счастие помогло неусыпности. Узнав об аресте Пассика и времени немедленного возмущения, все оцепенели, и когда радость заняла место прежнего удивления, все согласились на сие с восторгом. Один из сих братьев, отличавшийся от других рубцом на лице от удара, полученного на публичной игре, простой солдат, который был бы редкой красоты, если бы не имел столь суровой наружности, и который соединял проворство с силою, отправлен был от княгини с запискою в сих словах: «Приезжай, государыня, время дорого». Другие ж и княгиня приготовлялись во всю ночь с таким искусством, что к приезду императрицы было все уже готово, или если бы какое препятствие остановило ее, то никакой безрассудный шаг не открыл бы их тайны. Они даже предполагали, что предприятие могло быть неудачное, и на сей случай приготовили все к побегу ее в Швецию. Орлов со своим другом зарядили по пистолету и поменялись ими с клятвою не употреблять их ни в какой опасности, но сохранить на случай неудачи, чтобы взаимно поразить друг друга. Княгиня не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно.

Императрица была за 8 миль в Петергофе и под предлогом, что оставляет императору в полное распоряжение весь дом из опасения помешать ему с его двором, жила в особом павильоне, который, находясь на канале, соединенном с рекою, доставлял при первой тревоге более удобности к побегу в нарочно привязанной под самыми окнами лодке.

Означенный Орлов узнал от своего брата самые потаенные изгибы в саду и павильоне. Он разбудил свою государыню, и, думая присвоить в пользу своей фамилии честь революции, сей солдат имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: «Государыня, не теряйте ни минуты, спешите!» И, не дождавшись ответа, оставил ее, вышел и исчез.

Императрица в неизъяснимом удивлении одевалась и не знала, что начать; но тот же самый человек с быстротою молнии скачет по аллеям парка. «Вот ваша карета!» — сказал он, и императрица, не имея времени одуматься, держась рукою за Екатерину Ивановну, как бы увлеченная, бежала к воротам парка. Она увидела тут карету, которую сей Орлов отыскал на довольно отдаленной даче, где, по старанию княгини Дашковой, за два дня перед сим стояла она на всякий случай в готовности, — для того ли, что по нетерпению гвардии ожидали действия заговора несколько прежде, или для того, чтобы иметь более средств сохранить императрицу от всякой опасности, содержа подставных лошадей до соседственных границ.

Карета отправилась с наемными крестьянами, запряженная в 8 лошадей, которые в сих странах, будучи татарской породы, бегают с удивительною быстротою.

Екатерина сохраняла такое присутствие духа, что во все время своего пути смеялась со своею горничною какому-то беспорядку в своем одеянии.

Издали усмотрели открытую коляску, которая неслась с удивительною быстротою, и как сия дорога вела к императору, то и смотрели на нее с беспокойством. Но это был Орлов, любимец, который, прискакав навстречу своей любезной и крича: «Все готово!» — пустился обратно вперед с тою же быстротою. Таким образом продолжали путь свой к городу. Орлов один в передней коляске, за ним императрица со своею женщиною, а позади Орлов-солдат с товарищем, который его провожал.

Близ города они встретили Мишеля, француза-камердинера, которому императрица оказывала особую милость, храня его тайны и отдавая на воспитание побочных его детей. Он шел к своей должности, с ужасом узнал императрицу между такими проводниками и думал, что ее везут по приказу императора. Она высунула голову и закричала: «Последуй за мною!» — и Мишель с трепещущим сердцем думал, что едет в Сибирь.

Таким-то образом, чтобы деспотически чувствовать в обширнейшей в мире империи, прибыла Екатерина в восьмом часу утра, по уверению солдата, с наемными кучерами, руководимая любимцем, своею женщиною и парикмахером.

Надлежало переехать через весь город, чтобы явиться в казармах, находящихся с восточной стороны и образующих в сем месте совершенный лагерь. Они приехали прямо к тем двум ротам Измайловского полка, которые уже дали присягу. Солдаты не все выходили из казарм, ибо опасались, чтобы излишнею тревогою не испортить начала. Императрица сошла на дорогу, идущую мимо казарм, и между тем как ее провожатые бежали известить о ее прибытии, она, опираясь на свою горничную, переходила большое пространство, отделяющее казармы от дороги. Ее встретили 30 человек, выходящих в беспорядке и продолжающих надевать кителя и рубашки. При сем зрелище она удивилась, побледнела и ужас, видимо, овладел ею. В ту же минуту, которая представляла ее еще трогательнее, она говорит, что пришла к ним искать своего спасенья, что император приказал убить ее и с сыном и что убийцы, получа сие повеление, уже отправились. Все единогласно поклялись за нее умереть. Прибегают офицеры, толпа увеличивается. Она посылает за полковым священником и приказывает принести распятие. Бледный, трепещущий священник явился с крестом в руке и, не зная сам, что делал, принял от солдат присягу.

Тогда явился граф Разумовский, более преданный ей, нежели императору; с ним приехали: генерал Волхонский и племянник того великого канцлера, который отрешен, между прочим, за особенную преданность свою к сей государыне; граф Шувалов, который в последнее царствование с редким благоразумием пользовался величайшею к нему милостью и которого любили солдаты, воспоминая Елисавету; граф Брюс, премьер-майор гвардии; граф Строганов, которого супруга вместе с графинею Брюс были с императором, обе знаменитые по своей красоте и почитаемые в числе, как говорили, назначенных к разводу. В сем первом собрании некоторые провозгласили императрицу правительницею. Орлов прибег к ним, говоря, что не должно оставлять дело вполовину и подвергаться казни, откладывая его до другого времени, и первого, кто осмелится упомянуть о регентстве, он заколет из собственных рук. Майор Шепелев, на которого полагались, не явился, и первый ордер, данный императрицею, был такой: «Скажите ему, что я не имею в нем надобности и чтобы его посадили под арест». Простые офицеры явились к своим местам и командовали к оружью. Замечательно, что из великого числа субалтерных офицеров, давших свое слово, один только, именем Пушкин, по несчастию или по слабости, не сдержал его. Императрица объехала кругом казарм и пробежала пешком каждый из трех гвардейских полков — стражу, всегда ужасную своим государям, которая, некогда быв составлена Петром I из иностранцев, охраняла его от мятежников, но потом, умноженная числом русских, уже трикратно располагала регентством и короною.

Идучи от Измайловских казарм к Семеновским, предводительствуя тем первым полком, который возмутила она только представлением своих опасностей, солдаты кричали, что, идучи пред ними, она была не без опасности, и составили сами собою баталион-каре. Во всех казармах только два офицера Преображенского полка воспротивились своим солдатам и были арестованы. Проходя мимо полковой тюрьмы, где Пассик-заговорщик содержался, она послала его освободить, и тот, который приготовился перенести все пытки, не открывая тайны, пораженный столь непредвидимою новостью, имел дух не доверять, подозревая в том хитрость, посредством которой по его движениям хотят открыть цель заговора, и не пошел. Когда собрались все три полка, солдаты кричали «ура!», почитали уже все конченным и просили целовать руку императрицы; тогда она, укротив сей восторг, милостиво представила им, что в сию минуту у них есть другое дело. Орлов бежал к артиллерии, войску многочисленному, опасному, которого все почти солдаты носили знаки отличия за кровавые брани против короля прусского. Он воображал, что звание казначея давало ему столько доверенности и они тотчас примутся для него за оружие; но они отказались повиноваться и ожидали приказания от своего генерала.

Это был Вильбуа, французский эмигрант, главнокомандующий артиллериею и инженерами, человек отличной храбрости и редкой честности. Любимый несколько лет Екатериной, он надеялся быть таковым и вперед; посредством его даже во время немилости доставила она Орлову место казначейское, столь полезное своим намерениям. Но Орлов, без сомнения, желая разорвать его связь с императрицею, не включил его в число заговорщиков. Он работал в это время с инженерами, когда один из заговорщиков объявил ему, что императрица, его государыня, приказывает ему явиться к ней в гвардейские караулы. Вильбуа, удивленный таким приказанием, спросил: «Разве император умер?» Посланный, не отвечая ему, повторил те же слова, и Вильбуа, обращаясь к инженерам, сказал: «Всякий человек смертен»,— и последовал за адъютантом.

Вильбуа, до сей минуты ласкавший себя надеждою быть любимым, приехав в казармы и видя императрицу, окруженную сею толпою, со смертельною досадою чувствовал, что столь важный прожект произвели в действо, не сделав ему ни малейшей доверенности. Он обожал свою государыню и, притворно или действительно извиняясь пред нею в затруднениях, которые представлялись ему при ее действии ее предприятия единственно **[293]** потому, что по несчастью не имел участия в ее тайне, старался чрез то упрекать ее: «Вам бы надлежало предвидеть, государыня»,— прибавил он, но она поспешила прервать его и отвечала ему со всею гордостью: «Я не затем послала за вами, чтобы спросить у вас, что надлежало мне предвидеть, но чтобы узнать, что вы хотите делать». Тогда он бросился на колени, говоря: «Вам повиноваться, государыня»,— и отправился, чтобы вооружить свой полк и открыть императрице все арсеналы.

Из всех известных людей, которые были преданы императору, оставался в городе один только принц Георг голштинский, его дядя. Адъютант уведомил его, что в казармах бунт, он поспешно оделся и тотчас был арестован со всем семейством.

Императрица, окруженная уже десятью тысячами человек, вошла в ту же самую карету и, зная дух своего народа, повела их к Соборной церкви и вышла помолиться. Оттуда поехала она в огромный дворец, который одной стороной стоит над рекой, а другой обращен к обширной площади. Сей дворец, сколь возможно, был окружен солдатами. При концах улиц поставлены были пушки и готовы фитили. Площади и другие места были заняты караулами, и чтобы не допустить ни малейшего сведения императору о происходившем, то поставили отряд солдат на мосту, ведущем при выезде из Петербурга на ту дачу, где был император, но было уже поздно.

В целом городе один иностранец выдумал уведомить императора — это был некто Брессан, урожденный из княжества Монако, но воспитанный по-французски, почему и выдавал себя в России за француза, чтобы иметь лучший прием и покровительство, человек умный и честный, которого император принял к себе в парикмахеры, чтобы возвести его на первые степени счастия, и который, по крайней мере в сем случае, оправдал своею верностию высшую к нему милость. Он послал ловкого лакея в крестьянском платье на деревенской тележке и, не смея полагаться в такую минуту ни на кого из окружавших императора... приказал посланному своему вручить лично ему свою записку. Сей мнимый крестьянин только что проехал, когда заняли солдаты мост.

Один офицер с многочисленным отрядом бросился по повелению императрицы к молодому великому князю, который спал в другом дворце. Сей ребенок, узнав о предстоящих опасностях своей жизни, проснулся, окруженный солдатами, и пришел в ужас, которого впечатление оставалось в нем на долгое время. Дядька его Панин, бывший с ним до сей минуты, успокаивал его, взял на руки во всем ночном платье и принес его таким образом матери.

Она вынесла его на балкон и показала солдатам и народу. Стечение было бесчисленное, и все прочие полки присоединились к гвардии. Восклицания повторялись долгое время, и народ в восторге радости кидал вверх шапки. Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, пронесенные по главным улицам, и никто не знал, чье погребение. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы; а между тем, как внимание народа было все на сем месте, сия церемония скрылась из вида. Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: «Мы хорошо приняли свои меры».

Вероятно, сие явление выдумано, чтобы между чернию и рабами распространить полное понятие о смерти императора, удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении и, действуя в одно время на умы и сердца зрителей, произвести всеобщее единодушное провозглашение. И подлинно, из всего множества на месте и по улицам стеснившегося народа едва ли двадцать человек, даже и во дворце, понимали все сие происшествие, как оно было. Народ, солдаты, не зная, жив или нет император и восклицая беспрестанно «ура!» — слово, не имеющее другого смысла, кроме выражения радости,— думали, что провозглашают императором юного великого князя и матери дают регентство. Многие заговорщики, поспешая в первые минуты уведомить друзей своих, писали им ложную сию новость, от чего все были в полной радости, никакая мысль о несправедливости не возмущала народного самодовольствия, и друзья целовались, поздравляя себя взаимно.

Но манифест, розданный по всему городу, скоро объяснил истинное намерение, манифест печатный, который пиемонтец Одар в смертельном страхе хранил уже несколько дней в своей комнате. На другой день, как бы отдыхая на свободе, он говорил: «Наконец я не боюсь быть колесован». В нем заключалось, что императрица Екатерина II, убеждаясь просьбою своих народов, взошла на престол любезного своего отечества, дабы спасти его от погибели, и, укоряя императора, с негодованием восставала против короля прусского и отнятия у духовенства имущества. Так говорила немецкая принцесса, которая подтверждала сей союз и привела к окончанию помянутое отнятие имений.

Все вельможи, узнав поутру о сей новости, торопились во дворец; это было не последнее зрелище, которое представляли их физиономии, изображавшие беспокойство и радость, где суета и улыбка видимы были на бледных и испуганных лицах.

Они услышали во дворце торжественную службу, увидели священников, принимающих присягу в верности, и императрицу, употребляющую все способы обольщения. В присутствии ее был шумный совет о том, что долженствовало быть вперед. Всякий, страшась опасности и стараясь показать себя, предлагал и торопился исполнить. Не почитая нужным никакие предосторожности против города, совершенно возмущенного, и не предвидя никакой опасности оставить позади себя Петербург, скоро положено было, не теряя ни минуты, вести всю армию против императора. Великий шум между солдатами прервал их совещание. В беспрестанной тревоге насчет предстоявшей императрице опасности и ожидая всякую минуту, чтобы мнимые убийцы, посланные к ней и ее сыну, к ней не приехали, они полагали, что она не довольно безопасна в сем обширном дворце, который с одной стороны омывается рекою и, не быв окончен, казался открыт со всех сторон. Они говорили, что не могут ручаться за жизнь ее, и с великим шумом требовали, чтобы перевели ее в старый деревянный дворец, гораздо меньший, который, будучи на небольшом пространстве, могли бы они окружить со всех четырех сторон. И так императрица перешла площадь при самых шумных восклицаниях. Солдатам раздавали пиво и вино; они переоделись в прежний свой наряд, кидая со смехом прусский униформ, в который одел их император и который в их холодном климате оставлял солдата почти полуоткрытым, встречали с громким смехом тех, которые по скорости прибегали в сем платье, и их новые шапки летели из рук в руки, как мячи, делаясь игрою черни.

Один полк явился печальным; это были прекрасные кавалеристы, у которых с детства своего император был полковником и которых по восшествии на престол он тотчас ввел в Петербург и дал им место в гвардейском корпусе. Офицеры отказались идти и были все арестованы, а солдаты, коих недоброхотство было очевидно, были ведены другими из разных полков.

В полдень первое российское духовенство, старцы почтенного вида (известно, сколь маловажные вещи, действуя на воображение, делаются в сии решительные минуты существенной важностию), украшенные сединами, с длинными белыми бородами, в блестящем и приличном одеянии, приняв царские регалии, корону, скипетр и державу со священными книгами, покойным и величественным шествием проходили чрез всю армию, которая с благоговением хранила тогда молчание. Они вошли во дворец, чтобы помазать на царство императрицу, и сей обряд производил в сердцах, не знаю, какое-то впечатление, которое, казалось, давало законный вид насилию и хищению.

Как скоро совершили над нею, она тотчас переоделась в прежний гвардейский мундир, который взяла у молодого офицера такого же роста. После благоговейных обрядов религии следовал военный туалет, где тонкости щегольства возвышали нарядные прелести, где молодая и прекрасная женщина с очаровательной улыбкою принимала от окружавших ее чиновников шляпу, шпагу и особенно ленту первого в государстве ордена, который сложил с себя муж ее, чтобы вместо него носить всегда прусский.

В сем новом наряде она села верхом у крыльца своего дома и вместе с княгинею Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь, объявляла войскам, как будто хочет быть их генералом, и веселым и надежным своим видом внушала им доверенность, которую сама от них принимала.

Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять взошла во дворец и обедала у окна, открытого на площадь. Держа стакан в руке, она приветствовала войска, которые отвечали продолжительным криком; потом села опять на лошадь и поехала перед своею армиею.

Весь город был в смятении, и армия взбунтовалась без малейшего беспорядка; после выхода в Петербурге было все совершенно спокойно. В б часов (появился) казачий трехтысячный полк, идучи в недальнем расстоянии, которого посланные императрицы встретили прежде, нежели императорские; вслед за нею проходили через город хорошо вооруженные люди на добрых лошадях и офицеры, отменно учтивые. Шествие сие уподоблялось празднику, который поселял в воображении мысль о благополучии императрицы и ручался за благосостояние народа.

Краткое географическое описание необходимо нужно к уразумению следующих за сим обстоятельств. Нева впадает в море при конце Финского залива и служит ему продолжением. За 12 миль до ее устья на нескольких островах, где широта различных рукавов образует прекраснейший вид, за 60 лет построен Петербург на низком и болотистом месте, но которое по непрочности первых зданий, поспешно строенных, и от частых пожаров покрылось развалинами более 3 футов. Спускаясь по реке, правый берег еще не возделан и покрыт большими лесами, левый же образует холм повсюду одинаковой высоты, до самого того места, где оба берега расходятся на необозримое пространство и заключают между собою беспредельное море. На сем месте на высоте холма в прелестном положении стоит замок Ораниенбаум, который построил знаменитый Меншиков и который в несчастное время сего любимца по конфисковании его имения поступил в казну. Это особенное местопребывание императора в его молодости. Там была построена для учения его маленькая примерная крепость, у которой высота окопов была не более 6 футов, дабы молодому великому князю дать на опыте идею о великих управлениях, и потому сама по себе не способна была ни к какой обороне. В сем же намерении собрали там арсенал, не способный для вооружения войск, бывший не что иное, как кабинет военных редкостей, между коими хранились наилучшие памятники сей империи, знамена, отбитые у шведов и пруссаков. Император любил особенно сей замок и в нем-то жил с тремя тысячами собственного своего войска из герцогства Голштинского.

Против него виден простым глазом в самом устье реки на острове город Кронштадт. Дома построены со времен Петра I и, мало населенные, приходят в ветхость. Надежная и спокойная его пристань находится на стороне острова, обращенной к Ораниенбауму, которая весьма укреплена, а укрепления другой стороны не были докончены; но сей рукав реки, самой по себе опасной, сделался непроходимым по причине набросанных туда огромных камней. В пристани сего-то острова большая часть флота, готовая выступить в Голштинию, хорошо снабженная съестными припасами, амунициею и людьми, находилась под командою самого императора, а другая, под его же командою, была в Ревеле, старинном городе, лежащем далее на том же заливе.

По всей длине холма, идущего по берегу реки между Ораниенбаумом и Петербургом, в приятных рощах построены увеселительные дома русских господ не в дальнем между собою расстоянии. Посреди их находится прекрасный дворец, который построил Петр I по возвращении своем из Франции, надеясь поблизости моря сделать подражание водам версальским. В сем-то месте находилась императрица, и пребывание ее, как из сего видно, было избрано замечательно: между Петербургом, где был заговор, Ораниенбаумом, где был двор, и соседственным берегам Финляндии, где могла бы она найти свое убежище. В сей самый замок, именуемый Петергоф (двор Петра), император долженствовал прибыть в тот самый день, чтобы праздновать день своего ангела — святого Петра. Сей государь был в совершенной беспечности, и когда уведомили его о признаках заговора и об арестовании одного заговорщика, он сказал: «Это дурак». Из Ораниенбаума отправился он и весело продолжал путь свой в большой открытой коляске со своею любезною, с министром прусским, с прекраснейшими женщинами. Всех умы, казалось, были оживлены ожиданиями веселого праздника, но в Петергофе, куда он ехал, были уже в отчаянии. Бегство императрицы было очевидно, тщетно искали ее по садам и рощам. Часовой сказал, что в 4 часа утра он видел двух дам, выходящих из парка. Приезжавшие из Петербурга, не подозревая того, что происходило в казармах при их отъезде, не только не привезли никакой новости, но еще клятвенно уверяли, что там не было никакой перемены. Один из таковых и один из камергеров императрицы отправились пешком по той дороге, по которой надлежало ехать императору. Они встретили его любимца, адъютанта Гудовича, который ехал вперед верхом, и рассудили за благо открыть ему сию новость. Адъютант быстро повернул назад, остановил карету, несмотря, что император кричал: «Что за глупость?» — приблизившись, говорил ему на ухо. Император побледнел и сказал: «Пустите меня вон». Он остановился несколько времени на дороге и с крайнею горячностию расспрашивал адъютанта; но приметив близко ворота в парк, он приказал всем дамам выйти, оставил их среди дороги в удивлении и страхе от такого поступка, которого они не понимали причины, и, сказав только им, чтоб они приходили к нему в замок по аллеям парка, поспешно сел в карету с некоторыми людьми и погнал с удивительною быстротою. Приехав, он бросился в комнату императрицы, заглянул под кровать, открыл шкафы, пробовал своею тростью потолок и панели и, видя свою любезную, которая бежала к нему с теми молодыми дамами, он ей кричал: «Не говорил ли я, что она способна на все!» Все его придворные, признавая в душе своей роковую истину, хранили около него глубокое молчание; не доверяя друг другу, они чувствовали про себя, чего им держаться, или потому, что в сию минуту боялись раздражать государя, приводя его в недоумение. Слуги узнали... от крестьян, встречавшихся в рощах... о том, что происходило в Петербурге.

Иностранец лакей, приехав из города (это был молодой француз, который, судя обо всем по понятиям своей земли, видел начало возмущения и не вообразил тому причину), крайне удивился, нашед Петергоф в таком унынии, и спешил уведомить, что императрица не пропала, она в Петербурге и что праздник св. Петра будет праздновать там великолепно, ибо все войска стоят под ружьем, между тем как император в простоте сего рассказа видел, что царство его миновалось. Пользуясь беспорядком, вошел к нему крестьянин, который, по обычаю страны помолясь и поклонясь, молча подошел к императору, вынул из пазухи записку и вручил ее, поднимая глаза к небу. Это был переодетый слуга, который, по приказу своего господина, не отдал никому сей записки и тщетно старался встретиться в рощах с самим государем. Все в молчании и неизвестности окружили императора, который, пробежав ее глазами, перечитал потом вслух. Она состояла в следующем: «Гвардейские полки взбунтовались; императрица впереди; бьет 9 часов; она идет в Казанскую церковь; кажется, весь народ увлекается сим движением, и верные подданные вашего величества нигде не являются». Император вскричал: «Ну, господа, видите, что я говорил правду?»

Первый чиновник в империи, великий канцлер Воронцов, поговорив о той силе, какую имеет он над умом народа и императрицы, вызвался тотчас ехать в Петербург. И в самом деле, приехав к императрице, он мудро представлял ей все последствия сего предприятия. Она отвечала, показывая на народ и войско: «Причиною тому не я, но целая нация». Великий канцлер отвечал, что он это очень видит, дал присягу и в то же время прибавил, что, будучи не в состоянии последовать за нею в поход и после такого посольства, которое он тотчас сделал, боясь сделаться ей подозрительным, он ее всеподданнейше просит приказать посадить его дома под арест, приставив к нему одного офицера, который бы от него не отходил. Таким образом, каков бы ни был конец происшествия, он остался безопасен с той и другой стороны.

Однако император послал приказ к своим голштинским войскам, чтобы поспешно явились с артиллериею. По всем петербургским дорогам разослали гусаров, чтобы узнавать новости, собирать крестьян в соседственных деревнях и сзывать окрест проходящие полки, если время сие позволит. Он наименовал генералиссимусом того самого камергера императрицы, который шел к нему навстречу, чтобы известить его о побеге. Он приказал послать в Петербург за своим полком, и многие, пользуясь сим случаем, его оставили. Он бегал большими шагами, подобно помешанному, часто просил пить и диктовал против нее два большие манифеста, исполненные ужасных ругательств. Множество придворных занимались перепискою оных, и такое же число гусар развозили сии копии. Наконец в сей крепости он решился оставить свой прусский мундир и ленту и возложил все знаки Российской Империи.

Все придворные прогуливались по садам в уединении и печали, но Миних хотел спасти своего благодетеля. Слава прежних побед доставила ему место при сем мнимо военном дворе, и, по 20-летней ссылке нашед только новую экзерцицию, которая с исступлением занимала целую Европу и в которой младший поручик наверно превзошел бы старого генерала, он до сего времени ни во что не мешался, но в предстоящих опасностях великие таланты воспринимают сами собою всю свою силу, и, без сомнения, спасая императора, он льстил себя надеждою еще раз сделаться обладателем империи; он представил ему и время, и силы императрицы, возвестил, что в несколько часов она явится с 20 000 войска и ужасной артиллериею; доказал, что ни Петергоф, где они находятся, ни окрестности его не могут держаться в оборонительном положении, и присовокупил из опыта, который имеет он о свойстве русского солдата, что слабое сопротивление произведет только то, что они убьют императора и женщин, его окружающих; спасение его и победа состоят в Кронштадте — там находится многочисленный гарнизон и снаряженный флот; все женщины, при нем находящиеся, должны служить ему залогом; все зависит от выигрыша одного дня; народное движение, ночной бунт — все сие должно само собою уничтожиться, а если бы и продолжались, то император мог бы противопоставить силы почти равные и заставить трепетать Петербург.

Сей совет оживил все сердца; даже те, которые помышляли о бегстве, видя некоторую возможность в успехе, решились последовать за императором, чтобы разделить общую с ним участь, если ему удастся, или чтобы снискать удобный случай изменить ему с пользою для себя, если постигнет его несчастие.

Преданный ему генерал был послан в Кронштадт принять над ним начальство, а адъютант его возвратился с известием, что гарнизон пребывает верным своему долгу и решился умереть за императора; его там ожидают и трудятся с величайшею ревностию, дабы приготовиться к обороне. Между тем прибыли его голштинские войска, и уверенность в убежище поселила в нем некоторую беспечность. Он выстроил их в боевой порядок и, предаваясь безумной своей страсти, говорил, что не должен бежать, не видав неприятеля. Приказали подвести к берегу две галеры; но как тщетно старались склонить его к отъезду, то употребили к тому шутов и любимых его слуг. Он называл их трусами и рассматривал, с какою выгодою можно бы употребить некоторые небольшие высоты. Между тем как он терял время на сии пустые распоряжения, узнали от гусар, пойманных со стороны императрицы, которые заехали для розысков, что в Петербурге ей всё покорилось и она предводительствует 20 000 войска. В 8 часов адъютант прискакал стремительно, говоря, что сия армия в боевом порядке была на пути к Петергофу. При сем известии император и весь двор бросились к берегу, заняли две галеры и поспешно отправились: таким образом, ужасный план, предложенный Минихом, был исполнен только от испуга.

Здесь не излишне упомянуть о таком обстоятельстве, которое само по себе ничего бы не значило, если бы не доказывало, с каким примерным хладнокровием можно смотреть на сии ужасные происшествия. Один очевидный свидетель сего бегства, оставшись спокойно на берегу, рассказывал об этом на другой день; у него спросили, почему, когда его государь отправлялся оспаривать свою корону и жизнь, он не захотел за ним следовать. Тогда он отвечал: «В самом деле, я хотел сесть в галеру, но было уже поздно; ветер дул к северу, а со мною не было плаща».

Они плыли к Кронштадту на веслах и парусах; но после ответа адъютанта в сем городе случилась странная перемена. В шумном совете, который посреди самого возмущения поутру был в Петербурге долгое время, не вспомнили о Кронштадте. Молодой офицер из немцев первый упомянул о нем, и одно сие слово доставило ему справедливые награды. Вице-адмирал Талызин вызвался ехать в сей город и не взял никого в свою шлюпку. Он запретил гребцам под опасением жизни сказывать, откуда он. Когда приехали в Кронштадт, то комендант, без приказания коего не велено было никого пропускать, вышел сам к нему навстречу; видя его одного, он позволил ему выйти на берег и спросил о новостях. Талызин отвечал, что он ничего не знает, но, живучи все в деревне, слышал, что в Петербурге неспокойно, а как его место на флоте, то он и приехал сюда прямо. Комендант поверил ему и как скоро от него ушел, то он (Талызин), собрав несколько солдат, приказал им его арестовать и сказал, что император лишен престола, надобно оказать услугу императрице, сдавши ей Кронштадт, за что, верно, получит награду. Они последовали за ним; комендант был арестован, а он, собравши гарнизон и морские войска, сделал к ним воззвание и заставил присягнуть императрице.

Уже показались вдали две императорские галеры. Талызин, по одной отважности властелин города, чувствовал, что одно появление императора обратило бы все к его погибели и что надлежало развлечь умы. Вдруг по приказанию его раздался в городе звук набатного колокола; целый гарнизон с заряженными ружьями вылетел на крепостные валы, и 200 фитилей засверкали над таким же числом пушек. К 10 часам вечера подъезжает императорская галера и приготовляется к высадке. Ей кричат:

-Кто идет?

-Император.

-Нет императора.

При сем ужасном слове он встает, выходит вперед и, сбрасывая свой плащ, дабы показать орден, говорит:

-Это я — познайте меня!

Уже он готов выходить вон, но весь гарнизон, прибежав на помощь к часовым, устремляет против него штыки, а комендант угрожает открыть огонь, если он не удалится. Император упадает в руки окружавших его, а Талызин кричал с пристани обеим галерам:

-Удалитесь! В противном случае по вас будут стрелять из пушек.

И вся сия толпа повторяла: «Галеры прочь! Галеры прочь!» — с таким ожесточением, что капитан, видя себя под тучею пуль, готовых раздробить его, взял трубу и закричал:

-Уедем, уедем! Дайте время отчалить.

А чтобы скорее сие исполнить, приказал рубить канаты.

За трубным криком последовало в городе ужасное молчание, и по отплытии галеры раздался еще ужаснейший крик:

-Да здравствует императрица Екатерина!

Между тем как галера бежала на веслах из всей силы, император в слезах говорил:

-Заговор повсеместный — я это видел с первого дня своего царствования.

Без сил пошел он в свою каюту, куда последовали за ним одна его любезная с отцом своим. Оба судна, отъехав на пушечный выстрел, остановились и, не получая никакого приказа, стояли на одном месте и били по воде веслами. Таким образом провели они целую ночь, которая была тиха. Миних, спокойно стоя на верхней палубе, любовался ее тишиною. (...)

Когда все войска императрицы вышли из города и построились, то было так уже поздно, что в тот день не могли далеко уйти. Сама государыня, утомленная от прошедшей ночи и такого дня, отдыхала несколько часов в одном замке на дороге. Прибыв на сие место, она потребовала некоторых прохлаждений и, делясь частию с простыми офицерами, которые наперерыв ей служили, говорила им: «Что только будет у меня, все охотно разделю с вами».

Все думали, что идут против голштинских войск, которые были выстроены перед Петергофом, но по отплытии императора они получили приказание возвратиться в Ораниенбаум, и Петергоф остался пуст. Однако соседственные крестьяне, которых посылали собирать, явились туда, вооруженные вилами и косами, и, не находя ни войск, ни распоряжений, ожидали в беспорядке, что с ними будет под командою тех самых гусар, которые их привели. Орлов, первый партизан армии, приблизился в 5 часов утра для обозрения, ударил плашмя саблями на сих бедных, крича: «Да здравствует императрица!» — и они бросились бежать, кидая оружие свое и повторяя: «Да здравствует императрица!» И так армия беспрепятственно прошла на другую сторону Петергофа, и императрица самовластно вошла в тот самый дворец, откуда за 24 часа прежде убежала.

Между тем император стоял на воде несколько часов. От столь обширной империи осталось ему только две галеры, бесполезная в Ораниенбауме крепость и несколько иностранного войска, лишенного бодрости, без амуниции и провианта, между флотом (и) готовой поразить его армией, в первом исступлении бунта, и двумя городами, которые от него отложились. Он приказал позвать в свою каюту фельдмаршала Миниха и сказал: «Фельдмаршал! Мне бы надлежало немедленно последовать вашему совету. Вы видели много опасностей. Скажите наконец, что мне делать?» Миних отвечал, что дело еще не проиграно: надлежит, не медля ни одной минуты, направить путь к Ревелю, взять там военный корабль, пуститься в Пруссию, где была его армия, возвратиться в свою империю с 80 000 человек, и клялся, что ближе полутора месяца приведет государство в прежнее повиновение.

Придворные и молодые дамы вошли вместе с Минихом, чтобы изустно слышать, какое еще оставалось средство ко спасению; они говорили, что у гребцов недостанет сил, чтобы везти в Ревель. «Так что же! — возразил Миних.— Мы все будем им помогать». Весь двор содрогнулся от сего предложения, и потому ли, что лесть не оставляла сего несчастного государя, или потому, что он был окружен изменниками (ибо чему приписать такое несогласие их мнений?), ему представили, что он не в такой еще крайности; неприлично столь мощному государю выходить из своих владений на одном судне; невозможно верить, чтобы нация против него взбунтовалась, и, верно, целию сего возмущения имеют, чтобы примирить его с женою.

Петр решился на примирение, и, как человек, желающий даровать прощение, он приказал себя высадить в Ораниенбауме. Слуги со слезами встретили его на берегу. «Дети мои,— сказал он,— теперь мы ничего не значим». Их слезы тронули его до глубины души и сердца. Он узнал от них, что армия императрицы была очень близко, а потому тайно приказал оседлать наилучшую свою лошадь в намерении, переодевшись, уехать один в Польшу, но встревоженная мысль скоро привела его в недоумение, и его любезная, обольщенная надеждою найти убежище, а может быть, в то же время для себя и престол, убедила его послать к императрице просить ее, чтобы она позволила им ехать вместе в герцогство Голштинское. По словам ее, это значило исполнить все желания императрицы, которой ничто так не нужно, как примирение, столь благоприятное ее честолюбию. И когда императорские слуги кричали: «Батюшка наш! Она прикажет умертвить тебя!» — тогда любезная его отвечала им: «Для чего пугаете вы своего государя?!»

Это было последнее решение, и тотчас после единогласного совета, в котором положено, что единственное средство избежать первого ожесточения солдат было то, чтобы не делать им никакого сопротивления, он отдал приказ разрушить все, что могло служить к малейшей обороне, свезти пушки, распустить солдат и положить оружие. При сем зрелище Миних, объятый негодованием, спросил его — ужели он не умеет умереть как император, перед своим войском? «Если вы боитесь,— продолжал он,— сабельного удара, то возьмите в руки распятие — они не осмелятся вам вредить, а я буду командовать в сражении». Император держался своего решения и написал своей супруге, что он оставляет ей Российское государство и просит только позволения удалиться в свое герцогство Голштинское с фрейлиною Воронцовой и адъютантом Гудовичем.

Камергер, которого наименовал он своим генералиссимусом, был послан с сим письмом, и все придворные бросались в первые суда и, поспешно оставляя императора, стремились умножить новый штат.

В ответ императрица послала к нему для подписания отречение следующего содержания:

«Во время кратковременного и самовластного моего царствования в Российской Империи я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такого бремени, и управление таковым государством не только самовластное, но какою бы ни было формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение к вечному моему бесславию. Итак, сообразив благовременно все сие, я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь от правления помянутым государством, не желая так царствовать ни самовластно, ни же под другою какою-либо формою правления, даже не домогаться того никогда посредством какой-либо посторонней помощи. В удостоверение чего клянусь перед богом и всею вселенною, написав и подписав сие отречение собственною своею рукою».

Чего оставалось бояться от человека, который унизил себя до того, что переписал и подписал такое отречение? Или что надобно подумать о нации, у которой такой человек был еще опасен?

Тот же самый камергер, отвезши сие отречение к императрице, скоро возвратился назад, чтобы обезоружить голштинских солдат, которые с бешенством отдавали свое оружие и были заперты по житницам; наконец он приказал сесть в карету императору, его любезной и любимцу и без всякого сопротивления привез их в Петергоф.

Петр, отдаваясь добровольно в руки своей супруги, был не без надежды. Первые войска, которые он встретил, никогда его не видали; это были те 3000 казаков, которых нечаянный случай привел к сему происшествию. Они хранили глубокое молчание, и невольное чувство, которому он не мог противиться при виде их, не причинило ему никакого беспокойства. Но как скоро увидела его армия, то единогласные крики: «Да здравствует Екатерина!» — раздались со всех сторон, и среди сих-то новых восклицаний, неистово повторяемых, проехав все полки, он лишился памяти. Подъехали к большому подъезду, где при выходе из кареты его любезную подхватили солдаты и оборвали с нее знаки. Любимец его был встречен криком ругательства, на которое он отвечал им с гордостью и укорял их в преступлении. Император вошел один, в жару бешенства. Ему говорят: «Раздевайся!» И как ни один из мятежников не прикасался к нему рукою, то он сорвал с себя ленту, шпагу и платье, говоря: «Теперь я весь в ваших руках». Несколько минут сидел он в рубашке, босиком, на посмеяние солдат. Таким образом Петр был разлучен навсегда со своею любезною и своим любимцем, и через несколько минут все трое были вывезены под крепкими караулами в разные стороны.

Петербург со времени отправления императрицы был в неизвестности и 24 часа не получал никакой новости. По разным слухам, которые пробегали по городу, думали, что при малейших надеждах император найдет еще там своих защитников. Иностранцы были не без страха, зная, что настоящие русские, гнушаясь и новых обычаев, и всего, что приходит к ним из чужих краев, просили иногда у своих государей в награду позволения перебить всех иностранцев; но каков бы ни был конец, они опасались своевольства или ярости солдат.

В 5 часов вечера услышали отдаленный гром пушек; все внимательно прислушивались, скоро по равномерным промежуткам времени различили, что это были торжественные залпы; дождались об окончании дела, и с того времени во всех было одинаковое расположение.

Императрица ночевала в Петергофе, и на другой день поутру прежние ее собеседницы, которые оставили ее в ее бедствиях, молодые дамы, которые везде следовали за императором, придворные, которые, в намерении управлять сим государством в продолжение сих лет, питали в нем ненависть к его супруге, явились к ней все и поверглись к ногам ее.

Большая часть из них были родственники фрейлины Воронцовой. Видя их поверженных, княгиня Дашкова, сестра ее, также бросилась на колени, говоря: «Государыня, вот мое семейство, которым я вам пожертвовала». [306] Императрица приняла их всех с пленительным снисхождением и при них же пожаловала княгине «орденскую» ленту и драгоценные уборы сестры ее. Миних находился в сей же толпе, она сказала ему:

-Вы хотели против меня сражаться?

-Так, государыня, — отвечал он.— А теперь мой долг сражаться за вас.

Она оказала к нему такое уважение и милость, что, удивляясь дарованиям сей государыни, он скоро предложил ей в следующих потом разговорах все те знания во всех частях сей обширной империи, которые приобрел он в продолжительный век свой в науках на войне, в министерстве и ссылке, потому ли, что он был тронут сим великодушным и неожиданным приемом, или, как полагали, потому, что это было последнее усилие его честолюбия.

В сей самый день она возвратилась в город торжественно, и солдаты при сей радости были содержимы в такой же строгой дисциплине, как и во время возмущения.

Императрица была несколько разгорячена, и встревоженная кровь произвела по ее телу небольшие красноты. Она провела несколько дней в отдохновении. Новый двор ее представлял зрелище, достойное внимания; в нем радость столь великого успеха не препятствовала никому наблюдать все вокруг себя внимательно; тончайшие предосторожности были приняты посреди беспорядка, в котором придворные старались, уже по своей хитрости, взять преимущество над ревностными заговорщиками, гордящимися оказанною услугою, и поелику щедроты государыни не определяли никому надлежащего места, то всякий хотел показаться тем, чем непременно хотелось сделаться. В сии-то первые дни княгиня Дашкова, вошед к императрице, по особенной с нею короткости, к удивлению своему, увидела Орлова на длинных креслах и с обнаженною ногою, которую императрица сама перевязывала, ибо он получил в сию ногу контузию.

Княгиня сделала замечание на столь излишнюю милость, и скоро, узнав все подробнее, она приняла тон строгого наблюдения. Ее планы вольности, ее усердие участвовать в делах (что известно стало в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора, между тем как Екатерина хотела казаться избранною и, может быть, успела себя в этом уверить); наконец, все не нравилось (Екатерине), и немилость к ней (Дашковой) обнаружилась во дни блистательной славы, которую воздали ей из приличия. Орлов скоро обратил на себя всеобщее внимание. Между императрицей и сим дотоле неизвестным человеком оказалась та нежная короткость, которая была следствием давнишней связи. Двор был в крайнем удивлении. Вельможи, из которых многие почитали несомненным права свои на сердце государыни, не понимая, как, несмотря даже на его неизвестность, сей соперник скрывался от их проницательности, с жесточайшею досадою видели, что они трудились только для его возвышения. Не знаю почему — по своей дерзости, в намерении заставить молчать своих соперников, или по согласию со своею любезною, дабы оправдать то величие, которое она ему предназначала, он осмелился однажды ей сказать в публичном обеде, что он самовластный повелитель гвардии и что лишит ее престола, стоит только ему захотеть. Все зрители за сие оскорбились, некоторые отвечали с негодованием, но столь жадные служители были худые придворные; они исчезли, и честолюбие Орлова не знало никаких пределов.

Город Москва, столица империи, получил известие о революции таким образом, который причинил много беспокойства. В столь обширном городе заключается настоящая российская нация, между тем как Петербург есть только резиденция двора. Пять полков составляли гарнизон. Губернатор приказал раздать каждому солдату по 20 патронов. Собрал их на большой площади пред старинным царским дворцом в древней крепости, называемой Кремлем, которая построена перед сим за 400 лет и была первою колыбелью российского могущества. Он пригласил туда и народ, который, с одной стороны, встревоженный раздачей патронов, а с другой — увлекаемый любопытством, собрался туда со всех сторон и в таком множестве, какое только могло поместиться в крепости. Тогда губернатор читал во весь голос манифест, в коем императрица объявляла о восшествии своем на престол и об отречении ее мужа; когда он окончил свое чтение, то закричал: «Да здравствует императрица Екатерина II!» Но вся сия толпа и пять полков хранили глубокое молчание. Он возобновил тот же крик — ему ответили тем же молчанием, которое прерывалось только глухим шумом солдат, роптавших между собою за то, что гвардейские полки располагают престолом по всей воле. Губернатор с жаром возбуждал офицеров, его окруживших, соединиться с ним; они закричали в третий раз: «Да здравствует императрица!» — опасаясь быть жертвою раздраженных солдат и народа, и тотчас приказали их распустить. Уже прошло 6 дней после революции: и сие великое происшествие казалось конченным так, что никакое насилие не оставило неприятных впечатлений. Петр содержался в прекрасном доме, называемом Ропша, в 6 милях от Петербурга. В дороге он спросил карты и состроил из них род крепости, говоря: «Я в жизнь свою более их не увижу». Приехав в сию деревню, он спросил свою скрипку, собаку и негра.

Но солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, какое очарование руководило их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку. Большая часть без цели и мысли были увлечены движением других, и когда всякий вошел в себя и удовольствие располагать короною миновало, то почувствовали угрызения. Матросы, которых не льстили ничем во время бунта, упрекали публично в кабачках гвардейцев, что они на пиво продали своего императора, и сострадание, которое оправдывает и самых величайших злодеев, говорило в сердце каждого. В одну ночь приверженная к императрице толпа солдат взбунтовалась от пустого страха, говоря, что их матушка в опасности. Надлежало ее разбудить, чтобы они ее видели. В следующую ночь новое возмущение, еще опаснее,— одним словом, пока жизнь императора подавала повод к мятежам, то думали, что нельзя ожидать спокойствия.

Один из графов Орловых (ибо с первого дня им дано было сие достоинство), тот самый солдат, известный по находящемуся на лице знаку, который утаил билет княгини Дашковой, и некто по имени Теплое, достигший из нижних чинов по особенному дару губить своих соперников, пришли вместе к несчастному государю и объявили при входе, что они намерены с ним обедать. По обыкновению русскому, перед обедом подали рюмки с водкою, и представленная императору была с ядом. Потому ли, что они спешили доставить свою новость, или ужас злодеяния понуждал их торопиться, через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространялось по его жилам, и злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение — он отказался от другой; они употребили насилие, а он против них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, которые начинали раздаваться далеко, они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю; но как он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние, а они избегали всячески, чтобы не нанести ему раны, опасаясь за сие наказания, то и призвали к себе на помощь двух 309 офицеров, которым поручено были его караулить и которые в сие время стояли у дверей вне тюрьмы. Это был младший князь Барятинский и некто Потемкин, 17-ти лет от роду. Они показали такое рвение в заговоре, что, несмотря на их первую молодость, им вверили сию стражу. Они прибежали, и трое из сих убийц, обвязав и стянувши салфеткою шею сего несчастного императора (между тем как Орлов обеими коленями давил ему грудь и запер дыхание), таким образом его задушили, и он испустил дух в руках их.

Нельзя достоверно сказать, какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменною веселостию.

Вдруг является тот самый Орлов — растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости. Войдя в комнату, сверкающие и быстрые глаза его искали императрицу. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом публиковать о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну ночь и на. другое утро объявить сию новость, как будто сие случилось ночью. Приняв сей совет, императрица возвратилась с тем же лицом и продолжала обедать с тою же веселостью. Наутро, когда узнали, что Петр умер от геморроидальной колики, она показалась, орошенная слезами, и возвестила печаль своим указом.

Тело покойного было привезено в Петербург и выставлено напоказ. Лицо черное, и шея уязвленная. Несмотря на сии ужасные знаки, чтобы усмирить возмущения, которые начинали обнаруживаться, и предупредить, чтобы самозванцы под его именем не потрясли бы некогда империю, его показывали три дня народу в простом наряде голштинского офицера. Его солдаты, получив свободу, но без оружия, мешались в толпе народа и, смотря на своего государя, обнаруживали на лицах своих жалость, презрение, некоторый род стыда и позднего раскаяния.

Скоро их посадили на суда и отправили в свое отечество; но по роковому действию на них жестокой их судьбы буря потопила почти всех сих несчастных. Некоторые спаслись на ближайших скалах к берегу, но были также потоплены тем временем, как кронштадтский губернатор посылал в Петербург спросить, позволено ли будет им помочь. Императрица спешила отправить всех родственников покойного императора в Голштинию со всею почестию и даже отдала сие герцогство в управление принцу Георгу. Бирон, который уступал сему принцу права свои на герцогство Курляндское, при сем отдалении увидал себя в прежних своих правах; а императрица, желая уничтожить управляющего там принца и имея намерение господствовать там одна, чтобы не встречать препятствий своим планам на Польшу, и не зная, на что употребить такого человека, как Бирон, отправила его царствовать в сие герцогство.

Узнав о революции, Понятовский, почитая ее свободною, хотел перед ней явиться, но благоразумные советы его удержали; он остановился на границах и всякую минуту ожидал позволения приехать в Петербург; со времени своего отъезда он доказывал к ней самую настоящую страсть, которая может служить примером. Сей молодой человек, выехавший из России поспешно, в такой земле, где искусства не усовершенствованы, не мог достать портрета своей любезной, но по его памяти, по его описанию достиг того, что ему написали ее совершенно сходною. Не отнимая у него надежды, она умела всегда держать его в отдалении, и скоро употребила русское оружие, которое всегда желает квартировать в Польше, чтобы доставить ему корону. Она склонила принца Ан-гальт-Цербстского, своего брата, не служить никакому монарху; но она не принимала его также и в Россию, всячески избегая всего того, что могло напоминать русским, что она иностранка, и через то внушать им опасение подпасть опять под иго немцев. Все государи наперерыв искали ее союза, и один только китайский император, которого обширные области граничат с Россиею, отказался принять ее посольство и дал ответ, что он не ищет с нею ни дружбы, ни коммерции и никакого сообщения.

Первое старание ее было вызвать прежнего канцлера Бестужева, который, гордясь тогда самою ссылкою своею, расставил во многих местах во дворце свои портреты в одеянии несчастного. Она наказала слегка француза Брессана, уведомившего императора, и, оставив ему все его имущество, казалось, удовлетворила ненависти придворных только тем, что отняла у него ленту третьего по империи ордена. Она немедленно дала почувствовать графу Шувалову, что он должен удалиться, и жестоко подшутила, подарив любимцу покойной императрицы старого араба, любимого шута покойного императора. Учредив порядок во всех частях государства, она поехала в Москву для коронования своего в Соборной церкви древних царей. Сия столица встретила ее равнодушно — без удовольствия. Когда она проезжала по улицам, то народ бежал от нее, между тем как сын ее всегда окружен был толпою. Против нее были даже заговоры, пиемонтец Одар был доносчиком. Он изменил прежним друзьям своим, которые, будучи уже недовольны императрицею, устроили ей новые ковы, и в единственную за то награду просил только денег. На все предложения, деланные ему императрицею, чтобы возвести его на высшую степень, он отвечал всегда: «Государыня, дайте мне денег»,— и как скоро получил, то и возвратился в свое отечество.

Через полгода она возвратила ко двору того Гудовича, который был так предан императору, и его верность была вознаграждена благосклонным предложением наилучших женщин. Фрейлине Воронцовой, недостойной своей сопернице, она позволила возвратиться в Москву в свое семейство, где нашла она сестру княгиню Дашкову, которой от столь знаменитого предприятия остались в удел только беременность, скрытая досада и горестное познание людей.

Вся обстановка сего царствования, казалось, состояла в руках Орловых. Любимец скоро отрешил от должности главного начальника артиллерии Вильбуа и получил себе его место и полк. Замеченный рубцом на лице остался в одном гвардейском полку с главным надзором над всем корпусом, а третий получил первое место в Сенате. Кровавый переворот окончил жизнь Иоанна, и императрица не опасалась более соперника, кроме собственного сына, против которого она, казалось, себя обеспечила, поверив главное управление делами графу Панину, бывшему всегда его воспитателем. Доверенность, которою пользовался сей министр, противополагалась всегда могуществу Орловых, почему двор разделялся на две партии — остаток двух заговоров, и императрица посреди обеих управляла самовластно с такою славою, что в царствование ее многочисленные народы Европы и Азии покорялись ее власти.

**Приложение**

**ЗАПИСКИ О ПРЕБЫВАНИИ В РОССИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II**

**Л.-Ф. СЕГЮР**

**Л.-Ф. СЕГЮР**

**ЗАПИСКИ О ПРЕБЫВАНИИ В РОССИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II**

На пути до Риги я не встретил ничего замечательного. Это город укрепленный, многолюдный, торговый, более похожий на немецкий или на шведский, нежели на русский. Я пробыл в нем несколько часов и скоро проехал 565 верст, отделяющих его от С.-Петербурга. Дорога была прекрасная; я проехал несколько красивых городов и много селений; везде на станциях были покойные гостиницы и давали хороших лошадей. Под серым небом, несмотря на стужу, доходившую до 25°, повсюду можно было видеть следы силы и власти и памятники гения Петра Великого. Счастливо и отважно победив природу, преобразил он эти холодные страны в богатые области и над этими вечными льдами распространил плодотворные лучи просвещения. Я был приятно поражен, когда в местах, где некогда были одни лишь обширные, бесплодные и смрадные болота, увидел красивые здания города, основанного Петром и сделавшегося менее чем в сто лет одним из богатейших, замечательнейших городов в Европе.

10 марта 1785 года я прибыл в дом, нанятый для меня г-ном де ла Колиньером. Немедленно стали мы с ним обдумывать, что нужно сделать, чтобы скорее увидеть эту необыкновенную женщину — знаменитую Екатерину, которую князь де Линь оригинально и остроумно называл *Екатериной Великим*.

Узнав час, в который я мог представиться к вице-канцлеру графу Остерману, я вручил ему депешу, полученную мною от Вержения, и просил его испросить мне аудиенцию у императрицы, чтобы представить мои кредитивные грамоты ее величеству. Государыня велела мне сказать, что примет меня на следующий день; но она тогда была нездорова, болезнь ее продолжилась дней на восемь или на десять и отсрочила мою аудиенцию. Поэтому я имел более досужного времени, нежели хотел, чтобы перетолковать с Колиньером о положении дел и о разных лицах, действующих на том обширном поприще, на которое я должен был вступить.

Я получил несколько писем от графа Вержения. Он обстоятельно судил о предполагавшемся обмене Баварии и о мерах короля для воспрепятствования этому делу. Он предписывал мне стараться выведать настоящие намерения императрицы по этому вопросу и, согласно со мною, полагал, что она не слишком желает успеха этому предприятию, хотя министр ее Румянцев довольно решительно поступил от ее имени. Вероятно, государыня при этом случае имела целью теснее сблизиться с императором, помогая ему, однако, не столько действительными мерами, сколько уверениями, обещаниями и объявлениями о вооружении войск. Скоро узнал я, что набор в 40000 рекрут<ов>, о котором так шумели, необходим для пополнения армии и что это был обыкновенный набор — по одному с пятисот. Если бы думали о войне, то это число было бы удвоено. Я узнал также, что эскадра, снаряженная в Кронштадте, назначалась к отплытию в Балтийское море для морских упражнений. Но что действительно могло заботить наш кабинет — так это деятельные меры, принятые русским министерством, чтобы отдалить от нас императора и Голландию и сблизить их с Англиею. Несогласие между Голландскими штатами и Иосифом совершенно утихло только к концу 1785 года; завязались переговоры, и наше посредничество было принято; но Екатерина старалась не дать нам воспользоваться ими и желала быть единственною посредницею между венским кабинетом и голландцами. Я не разделял удивления Вержения по этому поводу. Мне казалось довольно естественным, что императрица старалась везде ослаблять наше влияние. Уже в продолжение нескольких лет отношения между версальским и петербургским дворами были довольно холодны. Герцог Шуазель не щадил самолюбия Екатерины II. В России полагали, что злоречивое сочинение аббата Шаппа было внушено этим министром. Кроме того, в Польше мы противились избранию короля Станислава Августа. После того, во время первого раздела Польши, министерство Людовика XV, хотя и бессильное, действовало неприязненно в отношении России. Наконец, так как стремления императрицы были направлены к разрушению Оттоманской империи, открытое покровительство, которое мы оказывали султану, служило препятствием ее намерениям. Тайна ее политики объяснялась этою мечтою, и, чтобы удовлетворить ей, Екатерина расторгла давний союз свой с Фридрихом II и постоянно старалась укрепить связи, соединявшие ее с Англией и в особенности с Иосифом II, от которого ожидала полезного содействия в обширных своих предприятиях.

Колиньер рассказал мне, что государыня не принимала меня потому, что в это время была опечалена смертью генерал-адъютанта Ланского. Она была к нему очень привязана, и, говорят, он того стоил по искренности и верности, свободной от честолюбия. Он успел убедить ее, что привязанность его относилась именно к Екатерине, а не к императрице.

Все, что я знал о высоких достоинствах этой государыни, все, что мне говорил о ней Фридрих II, подстрекало мое любопытство узнать ее лично. Относительно России всем известно, что она долее других европейских стран оставалась в невежестве и что в течение XVII столетия и даже по самое царствование Петра III отпечаток варварских нравов не был в ней изглажен...

Отвращаясь от этой картины, бросим взгляд на великие качества, на возвышенность характера и на те обстоятельства, посредством которых Екатерина украсила страницы истории своей страны. В немногих словах набросаем общий очерк этой славной жизни, которая нашла себе строгих судей, но которая достойна и справедливых похвал потомства, так как государыня огромной империи — как бы ни была притязательна ее политика — достойна похвалы, если весь народ высказывает к ней свою любовь.

Екатерина, дочь герцога Ангальт-Цербстского, носила имя Софии Августы-Доротеи. А получила имя Екатерины, приняв крещение по обряду православной церкви и выходя замуж за своего двоюродного брата Карла Петра Фридриха <Петра III Федоровича>, герцога голштейн-готторпского, которого Елисавета назначила своим преемником и сделала великим князем. Этот брак был несчастлив: природа, скупая на свои дары молодому князю, осыпала ими Екатерину. Казалось, судьба по странному капризу хотела дать супругу малодушие, непоследовательность, бесталанность человека подначального, а его супруге — ум, мужество и твердость мужчины, рожденного для трона. И действительно, Петр только мелькнул на троне, а Екатерина долгое время удерживала его за собою с блеском.

Екатерина отличалась огромными дарованиями и тонким умом; в ней дивно соединились качества, редко встречаемые в одном лице. Склонная к удовольствиям и вместе с тем трудолюбивая, она была проста в домашней жизни и скрытна в делах политических. Честолюбие ее было беспредельно, но она умела направлять его к благоразумным целям. Страстная в увлечениях, но постоянная в дружбе, она предписала себе неизменные правила для политической и правительственной деятельности; никогда не оставляла она человека, к которому питала дружбу, или предположение, которое обдумала. Она была величава пред народом, добра и даже снисходительна в обществе; к ее важности всегда примешивалось добродушие, веселость ее всегда была прилична. Одаренная возвышенной душою, она не обладала ни живым воображением, ни даже блеском разговора, исключая редких случаев, когда говорила об истории или о политике, — тогда личность ее придавала вес ее словам. Это была величественная монархиня и любезная дама. Возвышенное чело, несколько откинутая назад голова, гордый взгляд и благородство всей осанки, казалось, возвышали ее невысокий стан. У ней были орлиный нос, прелестный рот, голубые глаза и черные брови, чрезвычайно приятный взгляд и привлекательная улыбка. Чтобы скрыть свою полноту, которою наделило ее все истребляющее время, она носила широкие платья с пышными рукавами, напоминавшими старинный русский наряд. Белизна и блеск кожи служили ей украшением, которое она долго сохраняла.

Она была очень воздержанна в пище и питье, и некоторые насмешливые путешественники грубо ошибались, уверяя, что она употребляла много вина. Они не знали, что красная жидкость, всегда налитая в ее стакане, была не что иное, как смородинная вода. Она никогда не ужинала; в шесть часов вставала и сама затопляла свой камин. Сперва занималась она с своим полицеймейстером, потом с министрами. За ее столом обыкновенно было не более восьми человек. Обед был прост, как в частном доме, и так же как за столом Фридриха II, этикет был изгнан и допущена непринужденность в обращении.

Личные ее убеждения были философские, но как государыня она обнаруживала большое уважение к религии. Никто не умел с такою непостижимою легкостью переходить от развлечений к трудам. Предаваясь увеселениям, она никогда не увлекалась ими до забвения и среди занятий не переставала быть любезной. Сама диктуя своим министрам важнейшие бумаги, она обращала их в простых секретарей; она одна одушевляла и руководила своим советом.

Екатерина, в ранней молодости перенесенная в чуждую ей страну, язык, законы и нравы которой она должна была изучать в одно и то же время, нерадостно провела молодые годы. Не любимая супругом, в зависимости от императрицы, к характеру которой она не могла приноровиться, она видела в будущем только несчастия, так как природа одарила ее слишком большим умом, дарованиями и гордостью для того, чтобы она могла довольствоваться спокойствием уединения. Опасности ее положения увеличивались еще вследствие того, что Елисавета, слабая здоровьем в последние годы своей жизни и не ладившая с племянником, сосредоточивала всю свою привязанность на своем внуке. Двор был предан интригам: каждый день честолюбцы составляли новые замыслы — одни, надеясь приобрести влияние на наследника, другие, стараясь овладеть умом великой княгини. Наконец, один хитрый и смелый министр задумывал похитить скипетр у великого князя и, передав его в руки его малолетнего сына и освободив дворянство, от имени ребенка управлять государством.

Перед смертью Елисавета, со всех сторон осаждаемая различными советами, помирилась с Екатериной и ее супругом. После ее кончины Петр III вступил на престол. Сперва этот государь, пораженный тяжестью бремени, которое было ему не по силам, сблизился с Екатериной, охотно принимал ее советы и, казалось, хотел победить свое расположение к недеятельности; но вскоре интриги приближенных успели отвлечь его от его супруги. Между тем она, поставленная среди стольких опасностей и вынуждаемая ими, со своей стороны, прибегнуть к приемам честолюбивой политики, нашла возможность составить себе большой круг друзей. Вельможи были очарованы ее привлекательною ласковостью; народ, видя ее доброту, благотворительность и набожность, полюбил ее. Все духовенство возлагало на нее свои надежды приобрести влияние. Напротив того, Петр III возбудил к себе нерасположение русских военных своим пристрастием к прусской армии и ее вождю-герою. Увлекаемый своим энтузиазмом, он дошел до того, что принял какую-то должность в войсках Фридриха, которого называл своим генералом... Совершился переворот, вследствие которого Екатерина стала государыней великой империи...

Царствование ее было блистательное. Де Линь имел право сказать, что она, будучи человеколюбива и великодушна, как Генрих IV, была величава, добросердечна и счастлива в войнах, как Людовик XIV; она соединяла в себе свойства обоих государей. Фридрих Великий, когда еще был с нею в приязненных отношениях, часто хвалил ее. «Многие государыни, — говорил он, — заслужили славу: Семирамида — победами, Елисавета английская — ловкою политикою, Мария-Терезия — удивительною твердостью в бедствиях, но одна только Екатерина заслуживает наименование законодательницы».

Новая императрица не замедлила доказать своим подданным, что она выше всех опасений, — вернейшее средство удалить от себя всякую опасность. Ее управление было покойное и мягкое... Одно только возмущение временно нарушило внутренний мир России: дерзкий разбойник, донской казак Пугачев, приняв имя Петра III, поднял бунт, завлек толпу невежественных мужиков, перевешал множество дворян, был преследуем, поражен и, наконец, захвачен генералами Екатерины. Так как смертная казнь была изгнана из русского законодательства, то трудно было преклонить Екатерину предписать ее Пугачеву.

Императрица не была ни слаба, ни недоверчива, и всякий в ее царствование безопасно пользовался своим положением и саном, а потому для интриг не было цели и места при ее дворе. Вследствие того она могла спокойно заниматься делами внешней политики и исполнением обширных своих замыслов. Несмотря на все усилия саксонского двора, она восстановила власть Биронов в Курляндии. Она успела употребить честолюбие других монархов в свою пользу: так, когда она увидела, что король, которого она дала Польше, не способен быть самостоятельным и не довольно уступчив, чтобы служить ее намерениям, она разделила со своими союзниками эту страну и увеличила свои владения. С другой стороны, успешно шествуя по пути, предначертанному Петром Великим, она победила турок, невежественный народ, некогда грозный для Европы, и падение Порты было остановлено только несогласием христианских монархов. 500 000 турок были вооружены против нее; половина этого войска была истреблена славными победами Румянцева и Репнина. Удивленная Европа видела, как русский флот прошел через океан и Средиземное море, пробудил покоившуюся во прахе Спарту, возвестил грекам свободу и взорвал мусульманский флот в Чесменском заливе; наконец, великий визирь был осажден Румянцевым в Шумле, и тень Петра Великого отомщена. Султан, побежденный и принужденный согласиться на постыдный мир, уступил русским Новую Сербию, Азов, Таганрог, дозволил им свободное плавание по Черному морю и признал независимость Крыма. Вслед за тем Екатерина отняла у Сагим-Гирея этот полуостров, овладела течением Кубани и покорила остров Тамань. На пути к этим завоеваниям войска ее встретили запорожцев, которые обитали на островах при Днепровских порогах. Они составляли общину из казаков-выходцев и жили грабежом и добычею, захваченною то у турок, то у поляков, то у татар. Казаки эти грабили иногда и русских, хотя признавали над собою власть русского царя и со времени... измены... Мазепы должны были иметь гетманов, назначаемых русским правительством. В этой странной и воинственной общине не было женщин. Пленницы, захваченные в набегах, бережно охранялись в станах, вне Сечи, и не могли перейти границы Запорожской земли. Когда эти несчастные жертвы насилия рождали детей, то мальчиков отцы брали к себе на острова, а девочек изгоняли вместе с их матерями. Запорожцев легче было истребить, нежели покорить. Из них образовали матросов для черноморского флота, заведенного при Екатерине.

Таковы были счастливые войны и возрастающие завоевания императрицы, когда я прибыл к ее двору. После того и уже в последние годы ее царствования, снова торжествуя над турками, она сожгла их флот в устье Днепра, отняла у них Очаков, покорила Грузию, покрыла войсками Молдавию, взяла Хотин, Бендеры, Измаил и одержала несколько побед, в которых погибло более 40000 турок. По Ясскому миру в 1792 году Днестр был назначен границею и за Россией упрочено владение Кавказом. Екатерина, присвоив себе Грузию, распространила свои владения до пределов Персии. Польша после вторичного раздела потеряла свою независимость. Курляндия стала русскою областью.

В продолжение этого длинного ряда торжеств и приобретений только одно обстоятельство могло некоторое время тревожить ее спокойствие. Несчастный князь Иван еще жил в крепости, куда был помещен при Елисавете. Однажды один русский офицер, служивший в гарнизоне этой крепости, во главе нескольких солдат бросается к комнате Ивана, вламывается в дверь и, возвращая ему свободу, провозглашает его императором. Тогда комендант крепости, пораженный случившимся, исполняет давнишнее распоряжение Елисаветы относительно Ивана и лишает его жизни. Возмутившийся офицер смущен, обезоружен, остановлен, подвергнут суду и осужден. Тем не менее кончина несчастного Ивана тоже была приписана лично императрице; но достойные веры лица, говорившие мне об этом событии в России, называли это обвинение несправедливою клеветою.

Между тем как войска Екатерины распространяли ее славу и владения, она деятельно занималась мерами преобразований в управлении государством и развитием народного образования. Русские законы представляли хаос: государи издавали новые законы, не уничтожая старых; судьи, не имея ни правил, ни начал, которыми бы могли руководствоваться, судили произвольно. Екатерина, желая устранить этот беспорядок, учредила правильные суды и старалась ввести единство в судопроизводстве. Движимая великодушием, созвала она в Москву выборных со всех областей своей обширной империи, чтобы совещаться с ними о законах, которые намеревалась издать. Когда они собрались, им прочтено было введение к Уложению, предложенному императрицею. Эта книга, пользующаяся такой известностью, была переведена на русский язык, но первоначально написана по-французски рукою Екатерины. Мне показывали ее в петербургской библиотеке, и мне приятно было увидеть, что это было довольно полное извлечение из бессмертного Монтескье. Но собрание депутатов, столь новое и неожиданное, не оправдало тех надежд, которые оно пробудило, потому что члены его большей частью удалялись от цели, предначертанной правительством. Выбранные от Самоедов, дикого племени, подали мнение, замечательное своей простодушной откровенностью. «Мы люди простые, — сказали они, — мы проводим жизнь, пася оленей; мы не нуждаемся в Уложении. Установите только законы для наших русских соседей и наших начальников, чтобы они не могли нас притеснять; тогда мы будем довольны, и больше нам ничего не нужно». Между тем, вследствие слухов о прениях, крепостные некоторых вельмож, побуждаемые надеждой на свободу, начали во многих местах волноваться. Собрание было распущено, и императрица должна была одна заняться составлением законов. Она издала несколько законоположений, имевших предметом правосудие и управление, но не могла совершить тех великих преобразований, для успеха которых нужны благоприятная среда, обычаи, сообразные цели законодателя, и стечение многих особенных обстоятельств. Нередко Екатерина, с гордостью удовлетворенного самолюбия, говорила мне о двух указах, которые она высоко ценила: один из них — дворянская грамота, а другой — об отмене дуэлей. Цель обоих указов была и благородна, и нравственна; но первый из них не предоставлял дворянству полной свободы, а второй был часто нарушаем из предрассудка point d'honneur. (дело чести — фр.)

На одной из петербургских площадей Екатерина воздвигла бронзовое изваяние Петра Великого. Этот памятник работы талантливого Фальконета имеет подножием огромную гранитную скалу.

Деятельность Екатерины была беспредельна. Она основала академию и общественные банки в Петербурге и даже в Сибири. Россия обязана ей введением фабрик стальных изделий, кожевенных заводов, многочисленных мануфактур, литеен и разведением шелковичных червей на Украине. Показывая своим подданным пример благоразумия и неустрашимости, она при введении в России оспопрививания сама первая подверглась ему. По ее повелению министры ее заключили торговые договоры почти со всеми европейскими державами. В ее царствование Кяхта в отдаленной Сибири стала рынком русско-китайской торговли.

В Петербурге учреждены были училища военного и морского ведомства для приготовления специально образованных офицеров. Училище, основанное для греков, ясно изобличало виды и надежды государыни. Она дала в Белоруссии приют иезуитам, которых в то время изгоняли из всех христианских стран. Она полагала, что при содействии их быстрее распространится просвещение в России, где водворение этого ордена казалось ей безвредным, так как в ее обширных владениях господствовала самая полная веротерпимость. Государыня снаряжала морские экспедиции в Тихий океан, в Ледовитое море, к берегам Азии и Америки.

Устремясь по всем путям славы, она пожелала также снискать известность на Парнасе и в часы досуга сочинила несколько комедий. Когда аббат Шапп, в изданном им путешествии в Сибирь, высказал злые клеветы на нравы русского народа и правление Екатерины, она опровергла его в сочинении под заглавием Antidote. Нельзя без удовольствия читать ее умные письма к Вольтеру и де Линю. Все были поражены, когда гордая монархиня, преклоняясь пред философией, вздумала призвать в Россию д'Аламбера, чтобы поручить ему образование наследника престола, и когда философ отказался от случая распространить свои идеи влиянием своим на такого питомца. Напротив того, Дидро с гордостью прибыл ко двору Екатерины; она восхищалась его умом, но отвергла его теории, заманчивые по своим идеям, но неприложимые к практике. Императрица, сама усердно следя за воспитанием своих внучат Александра и Константина, сочинила для них нравоучительные сказки и сокращенную историю древней России.

Екатерина в продолжение своего царствования превратила до 300 селений в города и установила судебный и правительственный порядок во всех областях империи. Двор ее был местом свидания всех государей и всех знаменитых лиц ее века. До нее Петербург, построенный в пределах стужи и льдов, оставался почти незамеченным и, казалось, находился в Азии. В ее царствование Россия стала державою европейскою. Петербург занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился на чреду престолов самых могущественных и значительных. Такова была славная монархиня, при которой я находился в качестве посла. После этого короткого очерка нетрудно представить себе, с каким тревожным чувством я ожидал дня, когда должен был предстать церед этой необыкновенной государыней и знаменитой женщиной.

За несколько дней пред тем я узнал, что императрицу уже постарались предубедить против меня. Колиньер бывал у графини Брюс, супруги петербургского генерал-губернатора. Она была тетка графа Николая Петровича Румянцева, известная своей красотою и умом, и пользовалась благосклонностью Екатерины долгое время. Графиня горячо жаловалась канцлеру на меня, за мой поступок с ее племянником, который в своих письмах и депешах изобразил меня дерзким, высокомерным и задорным французом и обвинял меня в том, что я будто бы невежливо отнял у него место за столом курфюрста. Слух об этом происшествии уже распространился по городу. Прусский посланник граф Герц говорил мне об этом и даже приписывал отсрочку моей аудиенции неудовольствию императрицы по этому случаю. Я видел, что мне нужно поторопиться оправданием по случаю этих неосновательных жалоб; они могли надолго вооружить против меня императрицу. Для этого Колиньер отправился к графине Брюс и объявил ей от моего имени, что если она не перестанет распускать обо мне ложные слухи, то повредит только своему племяннику. Так как между нами не было гласной ссоры и объяснений, то незачем было напрасно прибегать к выдумкам; если же предположить, что был повод к размолвке, то всякий обвинил бы скорей Румянцева, чем меня, потому что если он считал себя обиженным (хотя бы и не имел достаточного повода), то должен был объясниться со мною; а он этого не сделал. По благоразумию своему графиня поняла истину этих доводов и постаралась потушить эти слухи, так неосторожно распущенные. Но в этом случае мне особенно помог Потемкин, который, говоря с императрицей об этом, выразил свое неудовольствие по поводу депеши графа Румянцева и находил, что граф напрасно перетревожился из-за пустяков и мог бы лучше объясниться со мной, нежели жаловаться своему двору.

Наконец я был допущен к аудиенции и в самом начале чуть было не испытал неудачи. По обыкновению, я представил вице-канцлеру копию с речи, которую должен был произнести. Когда я приехал во дворец, в приемной комнате, где я дожидался, встретил меня граф Кобенцель, австрийский посланник. Его живой, одушевленный разговор и важность предметов этого разговора заняли мое внимание и развлекли меня совершенно, так что когда мне объявили, что императрица готова меня принять, я заметил, что совершенно позабыл свою приветственную речь. Напрасно старался я вспомнить ее, проходя чрез ряд комнат, как вдруг отворилась дверь, и я предстал пред императрицей. В богатой одежде стояла она, облокотясь на колонну; ее величественный вид, важность и благородство осанки, гордость ее взгляда, ее несколько искусственная поза — все это поразило меня, и я окончательно все позабыл. К счастью, не стараясь напрасно понуждать свою память, я решился тут же сочинить речь, но в ней уже не было ни слова, заимствованного из той, которая была сообщена императрице и на которую она приготовила свой ответ. Это ее несколько удивило, но не помешало тотчас же ответить мне чрезвычайно приветливо и ласково и высказать несколько слов, лестных для меня лично.

Когда я получил и вручил вице-канцлеру мои кредитивные грамоты, она обратилась ко мне с вопросами о французском дворе и о моем пребывании в Берлине и Варшаве. Она упомянула также о Гримме и его письмах к ней, вероятно желая намекнуть, что из этих писем получила выгодное мнение обо мне. Впоследствии, когда государыня более ознакомилась со мною, она однажды вспомнила об этой аудиенции. «Что такое случилось с вами, граф, — сказала она мне, — когда вы представлялись мне в первый раз, и почему вы вдруг изменили речь, которую должны были сказать мне? Это меня удивило и заставило тоже изменить мой ответ». Я признался ей, что вид славы и величия привел меня в смущение: «Но я подумал, что это смущение, позволительное частному человеку, не прилично представителю Франции, и потому решился, не утруждая свою память, высказать в первых попавших мне на ум выражениях чувства моего монарха к вашему величеству и несколько мыслей, внушенных мне вашей славой и вашей личностью». — «Вы очень хорошо сделали, — сказала на это императрица. — Всякий имеет свои недостатки, и я склонна к предубеждению. Я помню, что один из ваших предшественников, представляясь мне, до того смутился, что мог только произнести: «Король, государь мой...» Я ожидала продолжения; он снова начал: «Король, государь мой...» — и дальше ничего не было. Наконец, после третьего приступа, я решилась ему помочь и сказала, что всегда была уверена в дружественном расположении его государя ко мне. Все уверяли меня, что этот посланник был ученый человек, но его робость навсегда поселила во мне несправедливое предубеждение против него, и я в этом каюсь, хотя, как видите, немного поздно».

В этот же день я был представлен великому князю Павлу Петровичу, великой княгине и сыну их, великому князю Александру Павловичу, который впоследствии взошел на престол и скончался после славного царствования. Великий князь, тогда семилетний ребенок, в первый раз принимал посланника и слышал речь. Мне всегда казался смешным этот обычай обращаться с важною речью к ребенку, почему я и ограничился несколькими словами о его воспитании и о надеждах, на него возлагаемых.

Великий князь и его супруга приняли меня очень приветливо. Почести, с какими они недавно встречены были во Франции, расположили их к французам. Когда я был ближе допущен в их общество, то имел случай узнать их редкие свойства, которыми они в то время снискали всеобщее уважение. Я говорю, что допущен был *в их общество*, потому что в самом деле, исключая торжественных дней, круг их, хотя довольно многочисленный, походил более на частное общество, нежели на церемонный двор, особенно когда они жили на даче. Никогда семейство частных лиц не принимало своих гостей с большею любезностью, простотой и непринужденностью; обеды, балы, спектакли и празднества — все это было запечатлено благородством, достоинством и вкусом. Великая княгиня, величавая, ласковая и естественная, прекрасная без желания нравиться, непринужденно любезная, представляла собой изящное воплощение добродетели. Павел Петрович желал нравиться; он был образован; в нем заметны были живость ума и благородное великодушие. Тем не менее без труда можно было заметить в его обращении и особенно в его разговорах о настоящем и будущем его положении какую-то чрезвычайную щекотливость...

Не приступая еще к переговорам и не имея к тому никакого особенного повода в настоящую минуту, я старался только узнать лица, имевшие вес при дворе, и изучать нравы и обычаи жителей этой северной столицы, еще недавно основанной, малоизвестной большей части моих соотечественников и куда я был перенесен судьбою на несколько лет. Путешественники и составители разных словарей подробно описали дворцы, храмы, каналы и богатые здания этого города, служащего дивным памятником победы, одержанной гениальным человеком над природой. Все описывали красоту Невы, величие ее гранитной набережной, прекрасный вид Кронштадта, унылую прелесть дворца и садов петергофских, наводящих путешественника на грустные мысли. Дорога от Петергофа в Петербург чрезвычайно живописна. Она идет между красивыми дачами и прекрасными садами, где петербургское общество ежегодно проводит короткое лето и в несколько теплых дней забывает о жестокости сурового климата, наслаждаясь постоянной зеленью дерев и лугов, которая на болотистой почве поддерживается до первого снега.

Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу. С одной стороны — модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой — купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с топорами, заткнутыми за ременными поясами. Эта одежда, шерстяная обувь и род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов, некогда грозных для римского мира. Изображения дикарей на барельефах Траяновой колонны в Риме как будто оживают и движутся перед вашими глазами. Кажется, слышишь тот же язык, те же крики, которые раздавались в Балканских и Альпийских горах и перед которыми обращались вспять полчища римских и византийских цезарей. Но когда эти люди на барках или на возах поют свои мелодические, хотя и однообразно грустные песни, то вспомнишь, что это уже не древние независимые скифы, а московитяне, потерявшие свою гордость под гнетом татар и русских бояр, которые, однако, не истребили их прежнюю мощь и врожденную отвагу.

Их сельские жилища напоминают простоту первобытных нравов; они построены из сколоченных вместе бревен; маленькое отверстие служит окном; в узкой комнате со скамьями вдоль стен стоит широкая печь. В углу висят образа, и им кланяются входящие прежде, чем приветствуют хозяев. Каша и жареное мясо служат им обыкновенною пищею, они пьют квас и мед; к несчастью, они, кроме этого, употребляют водку, которую не проглотит горло европейца. Богатые купцы в городах любят угощать с безмерною и грубою роскошью: они подают на стол огромнейшие блюда говядины, дичи, рыбы, яиц, пирогов, подносимых без порядка, некстати и в таком множестве, что самые отважные желудки приходят в ужас. Так как у низшего класса народа в этом государстве нет всеоживляющего и подстрекающего двигателя — самолюбия, нет желания возвыситься и обогатиться, чтобы умножить свои наслаждения, то ничего не может быть однообразнее их жизни... ограниченнее их нужд и постояннее их привычек. Нынешний день у них всегда повторение вчерашнего; ничто не изменяется; даже их женщины, в своей восточной одежде, с румянами на лице (у них даже слово *красный* означает *красоту*), в праздничные дни надевают покрывала с галунами и повойники с бисером, доставшиеся им по наследству от матушек и украшавшие их прабабушек. Русское простонародье, погруженное в рабство, не знакомо с нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторою степенью внешнего довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо; оно удовлетворяет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов. Помещики в России имеют почти неограниченную власть над своими крестьянами, но, надо признаться, почти все они пользуются ею с чрезвычайною умеренностью; при постепенном смягчении нравов подчинение их приближается к тому положению, в котором были в Европе крестьяне, прикрепленные к земле (servitude de la glebe). Каждый крестьянин платит умеренный оброк за землю, которую обрабатывает, и распределение этого налога производится старостами, выбранными из их среды.

Когда переходишь от этой невежественной части русского населения, еще коснеющей во тьме средних веков, к сословию дворян богатых и образованных, то внимание поражается совершенно иным зрелищем. Здесь я должен напомнить, что изображаю русское общество так, как оно было за сорок лет перед этим. С тех пор оно изменилось, улучшилось во всех отношениях. Русская молодежь, которую война и жажда познаний рассеяли по всем европейским городам и дворам, показала, до какой степени усовершенствовались искусства, науки и вкус в государстве, которое в первую пору царствования Людовика XV считалось необразованным и варварским.

Когда я прибыл в Петербург, в нем под покровом европейского лоска еще видны были следы прежних времен. Среди небольшого, избранного числа образованных и видевших свет людей, ни в чем не уступавших придворным лицам блистательнейших европейских дворов, было немало таких, в особенности стариков, которые по разговору, наружности, привычкам, невежеству и пустоте своей принадлежали скорее времени бояр, чем царствованию Екатерины.

Но это различие оказывалось только по тщательном наблюдении; во внешности оно не было заметно. С полвека уже все привыкли подражать иностранцам — одеваться, жить, меблироваться, есть, встречаться и кланяться, вести себя на бале и на обеде, как французы, англичане и немцы. Все, что касается до обращения и приличий, было перенято превосходно. Женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить много нарядных дам, девиц, замечательных красотою, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших романистов Франции, Италии и Англии. Между тем мужчины, исключая сотню придворных, каковы, например, Румянцевы, Разумовские, Строгановы, Шуваловы, Воронцовы, Куракины, Голицыны, Долгоруковы и прочие, большею частью были необщительны и молчаливы, важны и холодно вежливы и, по-видимому, мало знали о том, что происходило за пределами их отечества. Впрочем, обычаи, введенные Екатериною, придали такую приятность жизни петербургского общества, что изменения, произведенные временем, могли только вести к лучшему. Кроме праздничных дней, обеды, балы и вечера были немноголюдны, но общество в них было непестрое и хорошо выбранное; они не были похожи на пышные наши рауты, где царствует скука и беспорядок. Одежда, занятая у французских придворных, была менее покойна, чем фраки, сапоги и круглые шляпы, но она поддерживала приличие, любезность и благородство в обращении. Так как все обедали рано, то время после полудня было посвящено исполнению общественных требований, обычным визитам и съездам в гостиных, где ум и вкус образовывались приятным и разнообразным разговором. Это напоминало мне то веселое время, которое я проводил в парижских гостиных. Но слишком частые и неизбежные празднества не только при дворе, но и в обществе показались мне слишком пышными и утомительными. Было введено обычаем праздновать дни рождения и именины всякого знакомого лица, и не явиться с поздравлением в такой день было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но принимали всех, и все знакомые съезжались. Можно себе представить, чего стоило русским барам соблюдение этого обычая: им беспрестанно приходилось устраивать пиры.

Другого рода роскошь, обременительная для дворян и грозящая им разорением, если они не образумятся, это — многочисленная прислуга их. Дворовые люди, взятые из крестьян, считают господскую службу за честь и милость; они почитали бы себя наказанными и разжалованными, если бы их возвратили в деревню. Эти люди вступают между собою в браки и размножаются до такой степени, что нередко встречаешь помещика, у которого 400 и до 500 человек дворовых всех возрастов, обоих полов, и всех их он считает долгом держать при себе, хоть и не может занять их всех работой. Не менее того удивил меня другой обычай, введенный тщеславием: лица чином выше полковника должны были ездить в карете в четыре или шесть лошадей, смотря по чину, с длиннобородым кучером и двумя форейторами. Когда я в первый раз выехал таким образом с визитом к одной даме, жившей в соседнем доме, то мой форейтор уже был под ее воротами, а моя карета еще на моем дворе!

Зимой снимают с карет колеса и заменяют их полозьями. Зимний санный путь по гладким, широким улицам всегда прекрасен, так ровен и тверд, как будто убит мельчайшим песком; ничто не может сравниться с быстротой, с которою едешь или, лучше сказать, катишься по улицам этого прекрасного города.

Я уже говорил, с какою умеренностью русские помещики пользуются своею, по закону неограниченною, властью над своими крепостными. Во время моего долгого пребывания в России многие примеры привязанности крестьян к своим помещикам доказали мне, что я насчет этого не ошибся. В числе многих подобных примеров, на какие я бы мог указать, ограничусь одним. Обер-камергер граф \*\*\*, наделав больших долгов, вынужден был для их уплаты продать имение, находившееся в трехстах или четырехстах верстах от столицы. Однажды утром, проснувшись, он слышит ужасный шум у себя на дворе; шумела толпа собравшихся крестьян; он их призывает и спрашивает о причине этой сходки. «До нас дошли слухи, — говорят эти добрые люди, — что вашей милости приходится продавать нашу деревню, чтобы заплатить долги. Мы спокойны и довольны под вашею властью, вы нас осчастливили, мы вам благодарны за то и не хотим остаться без вас. Для этого мы сделали складчину и поспешили поднести вам деньги, какие вам нужны; умоляем вас принять их». Граф, после некоторого сопротивления, принял дар, с удовольствием сознавая, что его хорошее обращение с крестьянами вознаградилось таким приятным образом. Тем не менее эти люди достойны сожаления, потому что их участь зависит от изменчивой судьбы, которая, по своему произволу, подчиняет их хорошему или дурному владельцу. Эта истина не нуждается в доказательствах; несмотря на то, я не могу не вспомнить кстати анекдот, который показал мне, до какой степени неограниченная власть помещика, предающегося своим страстям, может оскорблять невинность, слабость и добродетель, которым нет никакой опоры в законах. Случай этот покажет, какой опасности могут подвергаться даже иностранцы свободные, но неизвестные, по несчастным обстоятельствам принужденные служить в стране, где господствует рабство. Они неожиданно могут стать наряду с самыми угнетенными рабами и не найдут защиты в самом сильном покровителе.

Мария-Филисите Ле Риш (Le Riche), девушка молодая, хорошенькая и с сердцем, приехала в Россию вместе с отцом, которого молодой русский барин вызвал для управления своей фабрикой. Предприятие это не удалось, и разоренный старик не в состоянии был содержать себя и дочь. Мария была влюблена в молодого работника, но вместе с тем она возбудила сильную страсть в русском офицере, помещике, у которого служил ее отец. Этот господин, стремясь к удовлетворению своих желаний, легко склонил отца Марии отказать бедному ее жениху и вместе с тем сказал старику, что одна из его родственниц желает иметь при себе молодую девушку и что это место было бы выгодно для его дочери. Несчастный отец принял с благодарностью его предложение. Мария, разлученная со своим женихом, отправилась в Петербург, где была помещена под присмотр хитрой старухи, в маленькой квартире; здесь она имела все необходимое, кроме свободы, покровительства, на которое она надеялась, и возможности видеться и переписываться со своим женихом. Мария была в поре надежд, терпела и положилась на будущее. Но скоро разразилось над ней горе. Ложный ее благодетель приезжает, сбрасывает с себя личину притворства и является низким соблазнителем. Она противится ему с двойною силою любви и добродетели. Убежденный в бесполезности всех средств к обольщению до тех пор, пока молодая девушка сохранит малейшую надежду принадлежать хоть когда-нибудь любимому человеку, похититель обманывает ее ложною вестью о смерти ее жениха. Она впадает в отчаяние и меланхолию. Ее преследователь пользуется ее беспомощным положением, с неистовством довершает свое преступление и потом бессовестно бросает ее. Несчастная изнемогает и теряет рассудок; добрые соседи сжалились над ней и поместили ее в больницу. Два года спустя после этого происшествия я видел эту несчастную жертву преступления и любви. Она была бледна, слаба; в ее лице заметны были следы прошлой красоты; она молчала, потому что не находила слов, чтобы выразить свое страдание. С недвижным взором, с рукой на сердце, она стояла в том же самом оцепенении и безмолвии, как в ту минуту, когда узнала о смерти своего милого. Только тело ее жило; душа же ее как будто искала того, который мог бы составить счастье ее жизни. Эта грустная картина никогда не изгладится из моей памяти. Г-н Дагесо, муж моей сестры, находившийся в то время в Петербурге, был, подобно мне, тронут видом этой молодой девушки и набросал ее портрет. Я сохранил этот рисунок, и он часто напоминает мне бедную Марию и ее судьбу.

Обычай наказывать за проступки без всякого разбирательства и пересуда вводит в ужасные ошибки даже самых кротких помещиков. Вот пример такого недоразумения, кончившийся довольно забавно благодаря действующим лицам, хотя начало было очень печально и даже жестоко.

Раз утром торопливо прибегает ко мне какой-то человек, смущенный, взволнованный страхом, страданием и гневом, с растрепанными волосами, с глазами красными и в слезах; голос его дрожал, платье его было в беспорядке; это был француз. Я спросил его, отчего он так расстроен.

— Граф, — отвечал он, — прибегаю к вашему покровительству, со мной поступили страшно несправедливо и жестоко; по приказанью одного вельможи меня сейчас оскорбили без всякой причины: мне дали сто ударов кнутом.

— Такое обращение, — сказал я, — даже в случае важного проступка непростительно; если же это случилось без всякого повода, как вы говорите, то это даже непонятно и совершенно невероятно. Кто же это мог сделать?

— Его сиятельство граф Б.

— Вы с ума сошли, — возразил я, — невозможно, чтобы человек такой почтенный, образованный и всеми уважаемый, как граф Б., позволил себе такое обращение с французом. Вероятно, вы сами осмелились его оскорбить?

— Нет, — возразил он, — я даже никогда не знавал графа Б.; я повар. Узнав, что граф желает иметь повара, я явился к нему в дом, и меня повели наверх, в его комнаты. Только что доложили обо мне, он приказал мне дать сто ударов, что сейчас же и было исполнено. Вы не поверите, что это так случилось, однако это правда; если хотите, я могу представить вам доказательство и показать мою спину.

— Слушайте же, — сказал я ему наконец, — если, вопреки всякому вероятию, вы сказали правду, я буду требовать удовлетворения за это оскорбление. Я не потерплю, чтобы обращались таким образом с моими соотечественниками, которых я обязан защищать. Если то, что вы мне сказали, — неправда, то я сумею наказать вас за такую клевету. Снесите сами письмо, которое я сейчас напишу графу; кто-нибудь из моих людей пойдет с вами.

Я действительно тотчас написал графу Б. о странной жалобе повара и, между прочим, заметил, что хоть я и не верю всему этому, однако обязан оказать защиту моему французу и прошу его объяснить мне это странное дело. Очень могло быть, что кто-нибудь из его слуг недостойно воспользовался его именем для такого насилия. Я его предупреждал, что с нетерпением ожидаю его ответа, чтобы принять нужные меры для наказания того, кто принес жалобу, в случае, если он солгал, и чтобы удовлетворить его, если он, против всякого вероятия, говорит правду.

Прошли два часа; я не получал никакого ответа. Наконец я стал терять терпение и хотел уже идти сам за объяснением, которого требовал, как вдруг опять явился повар, но в совершенно другом настроении: он был спокоен, улыбался и смотрел весело.

— Ну, что же, принесли вы мне ответ? — спросил я его.

— Нет, граф, его превосходительство сам доставит вам его вскоре; а мне уж больше не на что жаловаться, я доволен, совершенно доволен; тут вышла ошибка, мне остается только поблагодарить вас за вашу милость.

— Как, разве уже следы ваших ста ударов исчезли?

— Нет, они еще на моей спине и очень заметны, но их очень хорошо залечили и меня совершенно успокоили. Мне все объяснили; вот как было дело: у графа Б. был крепостной повар, родом из его вотчины; несколько дней тому назад он бежал и, говорят, обокрал его. Его сиятельство приказал отыскать его и, как только приведут, высечь. В это-то самое время я явился, чтобы проситься на его место. Когда меня ввели в кабинет графа, он сидел за своим столом, спиной к двери, и был очень занят. Меня ввел лакей и сказал графу: «Ваше сиятельство, вот повар». Граф, не оборачиваясь, тотчас отвечал: «Свести его на двор и дать ему сто ударов!» Лакей тотчас запирает дверь, тащит меня на двор и, с помощью своих товарищей, как я уже вам говорил, отсчитывает на спине бедного французского повара удары, назначенные беглому русскому. Его сиятельство сожалеет обо мне, сам объяснил мне эту ошибку и потом подарил мне вот этот кошелек с золотом.

Я отпустил этого бедняка, но не мог не заметить, что он слишком легко утешился после побоев.

Все эти выходки — выходки то жестокие, то странные и редко забавные — происходят от недостатка твердых учреждений и гарантий. В стране безгласного послушания и бесправности владелец самый справедливый и разумный должен остерегаться последствий необдуманного и поспешного приказания.

Приведу случай, может быть, немного странный, но достоверность его мне подтвердили многие русские, а один из моих сослуживцев, теперь член палаты пэров, не раз слышал о нем в России. Заметьте, что это случилось в царствование Екатерины II, которая как прежде, так и теперь считается всеми подданными своей пространной империи образцом мудрости, благоразумия, кротости и доброты.

Один богатый иностранец, Судерланд, приняв русское подданство, был придворным банкиром. Он пользовался расположением императрицы. Однажды ему говорят, что его дом окружен солдатами и что полицеймейстер Р. желает с ним переговорить. Р. со смущенным видом входит к нему и говорит:

— Господин Судерланд, я с прискорбием получил поручение от императрицы исполнить приказание ее, строгость которого меня пугает; не знаю, за какой проступок, за какое преступление вы подверглись гневу ее величества.

— Я тоже ничего не знаю и, признаюсь, не менее вас удивлен. Но скажите же наконец, какое это наказание?

— У меня, право, — отвечает полицеймейстер, — недостает духу, чтоб вам объявить его.

— Неужели я потерял доверие императрицы?

— Если б только это, я бы не так опечалился: доверие может возвратиться и место вы можете получить снова.

— Так что же? Не хотят ли меня выслать отсюда?

— Это было бы неприятно, но с вашим состоянием везде хорошо.

— Господи, — воскликнул испуганный Судерланд, — может быть, меня хотят сослать в Сибирь?

— Увы, и оттуда возвращаются!

— В крепость меня сажают, что ли?

— Это бы еще ничего: и из крепости выходят.

— Боже мой, уж не иду ли я под кнут?

— Истязание страшное, но от него не всегда умирают.

— Как, — воскликнул банкир, рыдая, — моя жизнь в опасности? Императрица, добрая, великодушная, на днях еще говорила со мной так милостиво, неужели она захочет... Но я не могу этому верить. О, говорите же скорее! Лучше смерть, чем эта неизвестность!

— Императрица, — отвечал уныло полицеймейстер, — приказала мне сделать из вас чучелу...

— Чучелу? — вскричал пораженный Судерланд. — Да вы с ума сошли! И как же вы могли согласиться исполнить такое приказание, не представив ей всю его жестокость и нелепость?

— Ах, любезный друг, я сделал то, что мы редко позволяем себе делать: я удивился и огорчился, я хотел даже возражать, но императрица рассердилась, упрекнула меня за непослушание, велела мне выйти и тотчас же исполнить ее приказание; вот ее слова, они мне и теперь еще слышатся: «Ступайте и не забывайте, что ваша обязанность — исполнять беспрекословно все мои приказания».

Невозможно описать удивление, гнев и отчаяние бедного банкира. Полицеймейстер дал ему четверть часа сроку, чтоб привести в порядок его дела. Судерланд тщетно умолял его позволить ему написать письмо императрице, чтоб прибегнуть к ее милосердию. Полицеймейстер наконец, однако со страхом, согласился, но, не смея нести его во дворец, взялся доставить его графу Брюсу. Граф сначала подумал, что полицеймейстер помешался, и, приказав ему следовать за собою, немедленно поехал к императрице; входит к государыне и объясняет ей, в чем дело. Екатерина, услыхав этот странный рассказ, восклицает: «Боже мой! Какие страсти! Р. точно помешался! Граф, бегите скорее, сказать этому сумасшедшему, чтобы он сейчас поспешил утешить и освободить моего бедного банкира!»

Граф выходит и, отдав приказание, к удивлению своему, видит, что императрица хохочет.

— Теперь, — говорит она, — я поняла причину этого забавного и странного случая: у меня была маленькая собачка, которую я очень любила; ее звали Судерландом, потому что я получила ее в подарок от банкира. Недавно она околела, и я приказала Р. сделать из нее чучелу, но, видя, что он не решается, я рассердилась на него, приписав его отказ тому, что он из глупого тщеславия считает это поручение недостойным себя. Вот вам разрешение этой странной загадки.

Впрочем, я считаю нужным повторить, что общественные нравы и мудрые намерения Екатерины и двух ее преемников сделали для образования почти столько же хорошего, сколько могли произвесть дельные законы. Во время пятилетнего моего пребывания в России я не слыхал ни одного случая жестокости и угнетения. Крестьяне действительно живут в рабском состоянии, но с ними хорошо обращаются. Нигде не встретишь ни одного нищего, а если они попадаются, их отсылают к владельцам, которые обязаны их содержать; сами же дворяне хотя и подчинены неограниченной власти, но пользуются, по своему положению и уважению к ним общества, гораздо большим значением, чем во всех прочих, даже конституционных, странах Европы. Екатерина дала дворянству право выборов, и каждая губерния выбирает своих предводителей и судей. Все военные и гражданские должности находятся в их руках. Недостает только прочных законов, которые обеспечивали бы права престола, права дворянства и постепенное улучшение быта крестьян...

Иностранцы принимаются в России с самым внимательным гостеприимством. Никогда я не забуду приема, не только любезного, но и радушного, сделанного мне блестящим петербургским обществом. В короткое время знакомство с истинно достойными людьми и с любезными дамами заставило меня забыть, что я у них чужой... Трудно было бы найти женщину добродушнее и умнее графини Салтыковой; как искренно и непритворно добры были графини Остерман, Чернышева, Пушкина, госпожа Дивова; в Париже все любовались бы красотою и прелестью княжны Долгоруковой и ее матери, княгини Барятинской, графини Чернышевой, прелестной графини Скавронской, головка которой могла бы служить для художника образцом головы Амура. Молодые Нарышкины, графиня Разумовская, уже немолодая, фрейлины, украшение дворца императрицы, привлекали к себе взгляды и похвалы. Бывало, нехотя покидаешь умный разговор графини Шуваловой или оригинальную и острую беседу госпожи Загряжской (Zagreski).

Графы Румянцев, Салтыков, Строганов, Андрей Разумовский, известный своими успехами в политике; Андрей Шувалов, своим Epitre a Ninon (Поэтическое послание к Нинон) занявший место в ряду французских поэтов; братья графы Воронцовы, отличавшиеся один на поприще правительственном, другой в дипломатии; граф Безбородко, скрывавший тонкий ум под тяжелою наружностью; князь Репнин, вежливый царедворец и вместе храбрый генерал; благородный и прямодушный Михельсон, победитель Пугачева; фельдмаршал Румянцев, обессмертившийся своими победами; даже Суворов, который лаврами прикрывал свои странности, забавные ужимки и едва позволительные причуды, наконец, множество молодых полковников и генералов, которые доказывали, что Россия идет вперед на пути славы и просвещения, — все, разумеется, привлекали мое внимание и уважение. Я бы мог включить в число этих лиц имена Голицына, Куракина, Кушелева и других, если бы меня не удерживали тесные пределы моего рассказа. Но я не могу умолчать о старухе графине Румянцевой, матери фельдмаршала. Разрушающееся тело ее одно свидетельствовало об ее преклонных летах; но она обладала живым, веселым умом и юным воображением. Так как у нее была прекрасная память, то разговор ее имел всю прелесть и поучительность хорошо изложенной истории. Она присутствовала при заложении города Петербурга, и потому наша поговорка: *стара, как улица* (vieille comme les rues), могла вполне быть применена к ней. Будучи во Франции, она присутствовала на обеде у Людовика XIV и описывала мне наружность, манеры, выражение лица и одежду г-жи Ментенон, как будто бы только вчера ее видела. Она передавала мне любопытные подробности о знаменитом герцоге Мальборо, которого посетила в его лагере. В другой раз она представила мне верную картину двора английской королевы Анны, которая осыпала ее своими милостями; наконец, она рассказывала о том, как за ней ухаживал Петр Великий.

Но всего любопытнее и важнее для меня было знакомство со знаменитым и могущественным князем Потемкиным. Если представить очерк этой личности, то можно быть уверену, что никто не смешает его с кем-нибудь другим. Никогда еще ни при дворе, ни на поприще гражданском или военном не бывало царедворца более великолепного и дикого, министра более предприимчивого и менее трудолюбивого, полководца более храброго и вместе нерешительного. Он представлял собою самую своеобразную личность, потому что в нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность. Везде этот человек был бы замечателен своею странностью. Но за пределами России и без особенных обстоятельств, доставивших ему благоволение Екатерины II, он не только не мог бы приобресть такую огромную известность и достичь до такого высокого сана, но едва ли бы дослужился до сколько-нибудь значащего чина. По своей странности и непоследовательности в мыслях, он не пошел бы далеко ни на военном, ни на гражданском поприще.

Еще в начале царствования Екатерины Потемкин был не более как девятнадцатилетний унтер-офицер; в день переворота он один из первых стал на сторону императрицы. Однажды, на параде, счастливый случай привлек на него внимание государыни: она держала в руках шпагу, и ей понадобился темляк. Потемкин подъезжает к ней и вручает ей свой; он хочет почтительно удалиться, но его лошадь, приученная к строю, заупрямилась и не захотела отойти от коня государыни; Екатерина заметила это, улыбнулась и между тем обратила внимание на молодого унтер-офицера, который против воли все стоял подле нее; потом заговорила с ним, и он ей понравился своею наружностью, осанкою, ловкостью, ответами. Осведомившись о его имени, государыня пожаловала его офицером и вскоре назначила своим камер-юнкером. И так упрямство непослушной лошади повело его на путь почестей, богатства и могущества. Он сам рассказал мне этот анекдот.

Потемкин обладал счастливой памятью при врожденном живом, быстром и подвижном уме, но вместе с тем был беспечен и ленив. Любя покой, он был, однако, ненасытимо сластолюбив, властолюбив и склонен к роскоши, и потому счастье, служа ему, утомляло его; оно не соответствовало его лени и при всем том не могло удовлетворить его причудливым и пылким желаниям. Этого человека можно было сделать богатым и сильным, но нельзя было сделать счастливым. У него было доброе сердце и едкий ум. Будучи и скуп, и расточителен, он раздавал множество милостыни и редко платил долги свои. Свет ему надоел; ему казалось, что он в обществе лишний; но, несмотря на то, он дома окружил себя как бы двором. Любезный в тесном кругу, в большом обществе он являлся высокомерным и почти неприступным; впрочем, он стеснял других только потому, что сам чувствовал себя связанным. В нем была какая-то робость, которую он хотел скрыть или победить гордым обращением. Чтобы снискать его расположение, нужно было не бояться его, обходиться с ним просто, первому начинать с ним разговор, стараться ничем не затруднять его и быть с ним как можно развязнее.

Хотя он и воспитывался в университете, но он меньше научился из книг, чем от людей; лень ему мешала учиться, но любознательность его повсюду искала пищи. Он чрезвычайно любил расспрашивать, и так как по сану своему он сходился с людьми различных сословий и званий, то толками и расспросами обогащал свою память и приобрел такие сведения, что уму его дивились все, не только люди государственные и военные, но и путешественники, ученые, литераторы, художники, даже ремесленники. Любимый предмет его было богословие. Будучи тщеславен, честолюбив и прихотлив, он был не только богомолен, но даже суеверен. Мне случалось видеть, как он по целым утрам занимался рассматриванием образцов драгунских киверов, чепчиков и платьев для своих племянниц, митр и священнических облачений. Бывало, непременно привлечешь его внимание и удалишь его от других занятий, если заговоришь с ним о распрях греческой церкви с римскою, о соборах Никейском, Халкедонском или Флорентийском **36**. До мечтательности честолюбивый, он воображал себя то курляндским герцогом, то **[340]** королем польским, то задумывал основать духовный орден или просто сделаться монахом. То, чем он обладал, ему надоедало; чего он достичь не мог — возбуждало его желания. Ненасытный и пресыщенный, он был вполне любимец счастья, и так же подвижен, непостоянен и прихотлив, как само счастье.

Во всех столицах европейских, исключая однако Париж и Лондон, ввелось в обычай, что иностранные послы и министры (которых — не знаю почему — разумеют под именем *дипломатического корпуса*, тогда как члены этого *тела* всегда разъединены и не согласны между собою) делаются душою общества того города, где живут. Они обыкновенно деятельнее, нежели местные вельможи, оживляют общество, потому что держат открытые дома и часто дают роскошные обеды, блистательные пиры и балы. В то время, как я находился в Петербурге, дипломатический корпус составляли люди, достойные уважения во многих отношениях. Они оживляли и веселили петербургское общество. Австрийский посол *граф Кобенцель*, впоследствии заслуживший известность в Париже при Наполеоне, своею любезностью, живым разговором и постоянною веселостью заставлял всех забывать его необыкновенно неприятную наружность. Прусский министр *граф Герц*, более важный, но едва ли не более пылкий, заставлял любить и уважать себя за чистосердечие и живость, благодаря которой его глубокая ученость никогда не доходила до педантства. Его оживленный разговор всегда был занимателен и никогда не истощался. *Фитц-Герберт*, впоследствии лорд Сент-Еленс, с чувствительной душой и британскою причудливостью соединял всю прелесть самого образованного ума. Искусный и тонкий дипломат, постоянный в своих чувствах, всегда благородный и великодушный, он был лучший друг и вместе опаснейший соперник. На политическом поприще мы в продолжение нескольких лет старались вредить друг другу; но как частные люди мы были в самых дружественных отношениях между собою, что равно удивляло и русских, и наших соотечественников. *Барон Нолькен*, шведский министр, и *Сен-Сафорен* (Saint Saphorin), министр датский, пользовались также всеобщим уважением, как люди скромные, общительные и образованные. Неаполитанский министр, *герцог Серра-Каприола*, нравился всем своим добродушием и веселостью. Красавицу жену его убил суровый климат, к которому он сам, однако, так привык, что поселился в России и женился на дочери князя Вяземского, одного из значительнейших лиц при дворе Екатерины. Я не буду распространяться о голландском посланнике *бароне Вессенере* — его пребывание в Петербурге было кратковременным и незаметным и кончилось расстроившимся сватовством с довольно скандальными подробностями.

С самого начала моего пребывания при русском дворе я нашел здесь те же скучные затруднения при соблюдении этикета, которые мне наделали столько хлопот в Майнце. Верженнь уверил меня, что в Петербурге в дипломатическом церемониале господствует совершенная свобода. Колиньер сказал мне, что, точно, императрица допустила эту свободу, но что в действительности она не существовала. Каждое воскресенье государыня, выходя из церкви и вступая в свои покои, встречала представителей иностранных дворов, стоявших в два ряда вдоль зала. По старому ли обыкновению или по странному невниманию моих предшественников, — но, вслед за посланниками австрийским и голландским, которые по праву становились впереди, на первое место становился английский министр, а за ним уже французский. Не желая сохранять этот неприличный обычай и, с другой стороны, боясь усилить невыгодное обо мне мнение государыни, так как после истории в Майнце ей внушили, что я надменен и обидчив, я принужден был прибегнуть к хитрости, чтобы не потерять расположения двора, который желал сблизить с своим, и чтобы вместе с тем не выказать неуместной уступчивости. Для этого в первый приемный день я отправился во дворец пораньше; но как я ни спешил, однако нашел Фитц-Герберта уже занявшим первое место. Одна очень милая парижская дама поручила мне передать ему письмо, и я воспользовался этим случаем, чтобы исполнить ее поручение. Когда я сказал ему имя дамы, он поспешно взял у меня письмо и отошел к окну, чтобы прочитать его; тогда я занял его место, и он уступил его без спора, потому что завладел им не по праву, а только по привычке. На следующее воскресенье я опять собрался пораньше и занял первое место. При третьей аудиенции, заметив, что шведский посланник и другие сторонятся и дают мне дорогу, я сказал им: «Нет, господа, вы пришли прежде меня, и я стану после вас; здесь принято за правило не соблюдать строго дипломатического этикета, и теперь мы именно стоим не по чинам».

Недели две употребил я на то, чтобы познакомиться с обыкновениями петербургского общества и с главнейшими его представителями. После того принялся я за мои служебные дела, которые на первых порах были немногочисленны и неважны. Холодность в отношениях между нашим и русским двором не давала нам никакого веса в России; всем известно было предубеждение Екатерины против версальского кабинета. Министры и царедворцы, пользовавшиеся ее милостью, были весьма холодны в обращении и разговорах со мною. Чтобы дать понятие о нашем политическом значении, достаточно будет изложить содержание инструкции, полученной мною от Верження пред моим отъездом в Россию. Министр, между прочим, писал:

*«Составляя эту инструкцию и перечитывая инструкции, данные вашим предшественникам, я с сожалением усмотрел, что прежние распоряжения ныне не могут идти к делу. Наше сопротивление видам императрицы на Турцию совершенно изменило отношения нашего монарха к ней. До тех пор, пока граф Панин имел некоторое влияние на ум Екатерины, этот умный и миролюбивый министр умел победить в императрице недоброжелательство к Франции. В его министерство мы сблизились с Россиею и способствовали водворению согласия между ней и Турциею. Мы поддерживали столь славное для императрицы учреждение вооруженного нейтралитета. Англичане уже теряли в Петербурге прежнее влияние и опасались за ненарушимость своих торговых привилегий. Но со времени немилости и смерти графа Панина важнейшие государственные дела поручены были Потемкину; пылкий и честолюбивый князь совершенно предался англо-австрийской партии, надеясь при их содействии устранить препятствия, которые встречали виды Екатерины на Турцию. Правда, что мы союзники австрийцев. Но двадцативосьмилетний опыт доказал нам, что, несмотря на этот союз, венский двор не внушал своим представителям у других держав оставить свой старый обычай противудействовать нам. Граф Кобенцель довел этот образ действия до крайности, всячески потворствовал Англии и укрывал самые явные ее несправедливости. Наконец, несмотря на то, что Екатерина оставила прусского короля, соединилась с Австриею и потому, казалось бы, должна была сблизиться и с нами, мы видим, однако, что венский и петербургский кабинеты обращаются с нами так недоброжелательно, как будто мы составили против них союз с Пруссиею. А между тем монарх наш поступил так снисходительно и, может быть, даже слишком опрометчиво, что дал свое согласие на завоевание Крыма. Но эта уступка доставила нам только холодное выражение признательности со стороны Екатерины, и мы даже не могли получить от русского кабинета вознаграждения, издавна испрашиваемого за несколько важных нанесенных нам убытков. Вот в каком положении найдете вы императрица; опасаются, чтобы в предстоящей борьбе Голландии с Иосифом II она не приняла сторону императора. Ее вероятною целью будет действовать таким образом, чтобы, сообща с Англиею, принудить голландцев просить ее покровительства и чтобы император остался обязанным ей за ее уступки. Наконец, я уверен, что все попытки снискать нам дружественное расположение императрицы будут напрасны и что король должен будет в сношениях с нею ограничиться одним лишь строгим исполнением приличий. Впрочем, я вам советую стараться понравиться государыне и лицам, имеющим вес при дворе. Мы не имеем никакой надежды на заключение торгового договора с Россиею. Но если, противу чаяния, представятся к тому благоприятные обстоятельства, то воспользуйтесь всяким удобным случаем и постарайтесь уверить русских министров, что преимущества, данные англичанам, вредны для России, между тем как мы гораздо скромнее в наших требованиях и просим только, чтобы с нами обходились так же, как со всеми прочими промышленными странами».*

Министр полагал, что главным образом мне нужно было иметь в виду — открыть настоящие замыслы Екатерины, разузнать характер и значение ее отношений к императору и к Англии и изведать ее намерения относительно Швеции и попытки приобресть влияние на Неаполь. В особенности я обязан был различать вероятное от действительно существующего, угрозы от настоящих действий и ложные слухи от действительных намерений. Полагая, что главнейшею целью императрицы было разрушение Оттоманской империи и восстановление греческой державы, и чтобы заставить замолчать льстецов, предсказывавших скорый и легкий успех этому огромному предприятию, министр приказал мне всеми возможными способами стараться убедить русских министров в том, что этому перевороту воспротивятся все значительные европейские державы. Переходя к более частным предметам, министр предписывал мне отвечать вежливостью на вежливость графа Кобенцеля, но не доверяться ему, между тем как с прусским министром он советовал мне быть откровенным. Вообще с представителями дружественных держав мне велено было обходиться дружелюбно и даже не пропускать случая сблизиться с министрами неприязненных к нам государств; сверх того, мне велено было переписываться с нашими посланниками и министрами в Константинополе, Берлине, Стокгольме и Копенгагене и доводить до их сведения все, что им нужно было знать. Из очерка этих инструкций можно видеть, что не рассчитывали на мой успех; обязанность моя ограничивалась внимательным наблюдением за ходом дел при дворе, на который мы не имели никакого влияния, и единственное прямое поручение состояло в том, чтобы после многолетних напрасных требований добиться справедливого удовлетворения марсельским торговцам, которых русские каперы захватили и ограбили во время турецкой войны.

Мне нетрудно было узнать расположение главных министров: Воронцов, Остерман и Безбородко не скрывали своей приверженности к англичанам, и мои попытки сблизиться с ними ограничились чинным приемом и внешними выражениями вежливости. К тому же желание и необходимость угождать государыне приучили их сообразовывать свое поведение с ее намерениями и показывать ей, что они в политике, как и во всем другом, разделяют ее мнения. Но так как царедворцы в этом подобострастии доходят до крайности, то они выражали свое благорасположение и недоброжелательство с большею решительностью, нежели сама государыня. Императрица благоволила к послу австрийскому и к министру английскому, а потому и ее ближайшие советники были с ними в приязненных отношениях. Так как министры знали нерасположение государыни к французскому двору и неудовольствие ее по поводу поведения и насмешек прусского короля, то не сближались с графом Герцем и со мною и были всегда скорее готовы вредить нам, нежели услужить. Общество также отчасти следовало их примеру. Однако в Петербурге было довольно лиц, особенно дам, которые предпочитали французов другим иностранцам и желали сближения России с Франциею. Это расположение было мне приятно, но не послужило в пользу. Петербург в этом случае далеко не походит на Париж: здесь никогда в гостиных не говорили о политике, даже в похвалу правительства. Недовольные из жителей столицы высказывались только в тесном, дружеском обществе; те же, кому это было стеснительно, удалялись в Москву, которую, однако, нельзя назвать центром оппозиции — ее нет в России, — но которая действительно была столицею недовольных.

Прежде всего мне надо было познакомиться с князем Потемкиным, а потом уж с прочими министрами. К сожалению, мне трудно было победить в нем предубеждение против Франции. Он был совершенно противных мнений с графом Паниным, разделял и возбуждал честолюбивые замыслы Екатерины II, а во Франции видел препятствие сроим намерениям и ненавидел нас, как защитников турок, поляков и шведов. Он придумывал всевозможные средства, чтобы во вред нам и Пруссии снискать доверие, расположение и содействие кабинетов австрийского и английского. Поэтому он был холоден с нами и чрезвычайно ласков с Кобенцелем и Фитц-Гербертом, равно как с австрийскими и английскими купцами и путешественниками. Но эти препятствия не останавливали меня. Мне передали обстоятельные сведения о характере, свойствах и слабостях этого министра, и я попытался употребить эти сведения в дело, что мне и удалось, хотя сначала попытки мои казались безуспешны. Потемкин, как военный министр, главнокомандующий войсками, правитель вновь завоеванных южных областей империи, всесильный по неограниченному доверию к нему императрицы, был предметом лести и ухаживания всего дворянства и даже знатнейших вельмож. В торжественных случаях и в праздники он одевался очень пышно и обвешивал себя орденами; речью, осанкою и движениями представлял из себя вельможу времен Людовика XIV; но в обыкновенной домашней жизни он снимал с себя эту личину и, как истый баловень счастья, принимал всех без различия, среди восточной роскоши, которую многие ошибочно приписывали его высокомерию. Когда, бывало, видишь его небрежно лежащего на софе, с распущенными волосами, в халате или шубе, в шальварах, с туфлями на босу ногу, с открытой шеей, то невольно воображаешь себя перед каким-нибудь турецким или персидским пашою; но так как все смотрели на него как на раздавателя всяких милостей, то и привыкли подчиняться его странным прихотям. Холодностью своею он отвратил от себя почти всех иностранных министров. Они считали его неприступным и встречались с ним только в обществе. Только Кобенцель да Фитц-Герберт были с ним в коротких отношениях. Английский посол еще в отечестве своем уже свыкся с оригиналами и не удивлялся выходкам князя. Как умный и ловкий человек, он умел быть с ним запросто, никогда не нарушая приличий и всегда сохраняя собственное свое достоинство. Не таков был граф Кобенцель. Несмотря на свой ум и сан, которым был облечен, он держался того мнения, что в политике все средства дозволены, лишь бы цель была достигнута, и потому в угождении и внимательности к князю превзошел самых усердных и преданных его прислужников. Я не мог подражать ему. К тому же я полагал, что чем менее мы были друзьями тем более должны были избегать фамильярности; кто на. не любит, должен, по крайней мере, уважать нас. Свобод;.: в обращении хороша между людьми коротко знакомыми иначе она смешна.

Я письменно просил князя дать мне аудиенцию. В назначенный мне день и час я явился, велел доложить о себе и сел в приемной зале, где со мною дожидалось несколько русских вельмож и граф Кобенцель. Мне было неприятно дожидаться. Прошло с четверть часа, а двери все еще не отворялась; я еще раз велел доложить о себе Мне объявили, что князь еще не может меня принять; тогда я сказал, что мне некогда ждать, вышел, к удивлению всех присутствующих, и преспокойно отправился домой. На другой день я получил от Потемкина письмо, в котором он извинялся в своей неисправности и назначал мне новое свидание. Я явился к нему, и на этот раз, только что я вошел, как был тотчас же встречен князем; он был напудрен, разодет в кафтане с галунами и принял меня в своем кабинете. Он обратился ко мне с обычными приветствиями и несколькими незначительными вопросами. В его обращении заметна была какая-то принужденность. Когда я хотел было удалиться, он удержал меня. Ища предмета для разговора, он, по своему обыкновению, начал меня расспрашивать и, между прочим, с особенным любопытством заговорил об Американской войне, о важнейших событиях этой великой борьбы и о будущности новой республики. Он не верил в возможность существования республики в таких огромных размерах. Его живое воображение беспрестанно переходило от предметов важных к самым незначительным. Так как он очень любил ордена, то несколько раз брал в руки, перевертывал и рассматривал мой орден Цинцинната и хотел непременно знать, что это за орден, какого братства или общества, кто его учредил и на каких правилах. Заговорив о любимом предмете, он целый час почти толковал со мною о разных русских и европейских орденах. Беседа наша не имела никакого особенного значения; но так как она тянулась довольно долго — что было против правил князя, — то в городе об этом заговорили, особенно дипломаты; они всегда в таких случаях пускаются в догадки и редко попадают на правду. Впрочем, они скоро нашли повод к основательнейшим и более справедливым толкам.

В Петербурге был тогда дом, непохожий на все прочие: это был дом обер-шталмейстера Нарышкина, человека богатого, с именем, прославленным родством с царским домом. Он был довольно умен, очень веселого характера, необыкновенно радушен и чрезвычайно странен. Он и не пользовался доверием императрицы, но был у ней в большой милости. Ей казались забавными его странности, шутки и его рассеянная жизнь. Он никому не мешал; оттого ему все прощалось, и он мог делать и говорить многое, что иным не прошло бы даром. С утра до вечера в его доме слышались веселый говор, хохот, звуки музыки, шум пира; там ели, смеялись, пели и танцевали целый день; туда приходили без приглашений и уходили без поклонов; там царствовала свобода. Это был приют веселья и, можно сказать, место свидания всех влюбленных. Здесь, среди веселой и шумной толпы, скорее можно было тайком пошептаться, чем на балах и в обществах, связанных этикетом. В других домах нельзя было избавиться от внимания присутствующих; у Нарышкина же за шумом нельзя было ни наблюдать, ни осуждать, и толпа служила покровом тайн.

Я вместе с другими дипломатами часто ходил смотреть на эту забавную картину. Потемкин, который почти никуда не выезжал, часто бывал у шталмейстера; только здесь он не чувствовал себя связанным и сам никого не беспокоил. Впрочем, на это была особая причина: он был влюблен в одну из дочерей Нарышкина. В этом никто не сомневался, потому что он всегда сидел с ней вдвоем и в отдалении от других. За ужином он тоже не любил быть за общим столом со всеми гостями. Ему накрывали стол в особой комнате, куда он приглашал человек пять или шесть из своих знакомых. Я скоро попал в число этих избранных. Однако прежде нужно было удалить препятствия, мешавшие нашему сближению. Со своей стороны, Потемкин стал строже наблюдать правила вежливости, которые иногда забывал, а я решился требовать от него уважения, должного моему сану. Раз, например, он пригласил меня на большой обед. Я и все гости были парадно одеты, а он явился попросту — в сюртуке на меху. Мне это показалось странным, но так как никто не обращал на это внимания, то и я не дал заметить своего недоумения. Однако через несколько дней после того я, в свой черед, пригласил его обедать и отплатил ему тем же, объяснив заранее прочим моим гостям, что подало повод к этому поступку. Князь тотчас понял причину моего поведения и после этого обращался со мною так, как я желал. Я узнал его нрав; он любил, чтобы угождали его прихотям, но отплачивал за это высокомерием и презрением, между тем как легким сопротивлением можно было снискать его уважение.

Не прошло месяца, как исчезла холодность, водворившаяся между нами от взаимной осторожности в обращении. Раз, на вечере у Нарышкина, прохаживаясь с ним по комнатам, я навел разговор на два предмета, совершенно различные, но которыми, я уверен был, займу его внимание. Сперва я говорил ему о новых завоеваниях императрицы, о южных областях, подчиненных его управлению, о прекрасном его намерении довести торговлю на юге до той степени, до какой она достигла на севере. Это составляло главный предмет его попечений, и князь с таким жаром предался разговору, что продлил его сверх моих ожиданий. Когда после этого речь зашла о Черном море, Архипелаге и Греции, мне уже нетрудно было, минуя вопросы политические, навести его на любимый предмет и заговорить о причинах отделения церкви западной от восточной. Тогда он повел меня в кабинет, подсел ко мне и с видимым удовольствием стал высказывать мне свои обширные сведения о давнишних, пресловутых прениях пап с патриархами, о соборах, и местных, и вселенских, наконец, о всех этих распрях, то важных, то забавных, а порой и кровавых, которые велись с таким ожесточением, что падение Греческой империи и взятие Константинополя турками не могли их прекратить и что они длились среди грабежа и разгрома столицы. Разговор этот продолжался до глубокой ночи. Я узнал слабую струну князя, и с этих пор, казалось, он стал нуждаться во мне. Часто приглашал он меня побеседовать с ним о разных делах, и особенно о проектах, предлагаемых ему французскими купцами; они старались доказать ему пользу и удобство торговых сообщений между Марселем и Херсоном. Решившись изгнать из бесед наших всякое принуждение, он раз написал мне, что желает переговорить со мною кое о чем, но что болезнь мешает ему встать и одеться. Я отвечал, что немедленно явлюсь к нему и прошу принять меня запросто, без чинов.

В самом деле, я нашел его лежащим на постели, в одном халате и шальварах. Извинившись передо мной, он прямо сказал: «Любезный граф, я истинно расположен к вам, и если вы сколько-нибудь любите меня, то будемте друзьями и бросим всякие церемонии». Тогда я присел на кровать, у его ног, взял его за руку и сказал: «Я с удовольствием соглашаюсь на это, любезный князь. Новое знакомство всегда несколько связывает; но вы говорите о дружбе, а в таком случае должно устранить все, что может нас связывать и обременять». Всех удивило это неожиданное сближение, эта короткость между первым министром Екатерины и представителем двора, к которому императрица была явно не расположена. В особенности дипломаты не знали, что и подумать об этом. Беспокойный, пылкий граф Герц напрасно старался выведать повод и цель этого сближения. Я ему откровенно объяснил, в чем дело; но он не хотел верить, чтобы вопросы богословские или дела каких-нибудь купцов могли быть настоящими предметами наших долгих частых бесед. Он был убежден, что дело шло о каких-либо важных сделках между Австриею, Франциею и Россиею во вред Пруссии. Недоумение и догадки этих искателей тайн там, где тайны не было, час от часу возрастали. Потемкин, вероятно, сообщил императрице свое выгодное мнение обо мне. День ото дня императрица принимала меня с большею любезностью и внимательностью, исчезла холодность министров, придворные брали с них пример. Хотя неприязнь между нашим кабинетом и петербургским нисколько не смягчалась, но общество обманулось на этот счет, когда заметило, что французского посла осыпают похвалами, ласками, внимательностью, которыми прежде исключительно пользовались представители союзных держав — Кобенцель и Фитц-Герберт.

Скоро ощутил я влияние этой перемены — сперва в незначительных, потом и в более важных делах. Незадолго до моего приезда из России были высланы три француза, и русское правительство даже не известило об этом Колиньера, тогдашнего нашего поверенного в делах. Он, по долгу своему, выразил русскому правительству сожаление, но в осторожных выражениях, зная, что эта мера строгости имела свои достаточные причины. Министры отвечали ему неопределенно и неудовлетворительно; в то время они как будто нарочно пользовались каждым удобным случаем, чтобы сделать нам неприятность. Правда, что тогда в Россию приезжало множество негодных французов, развратных женщин, искателей приключений, камер-юнгфер, лакеев, которые ловким обращением и уменьем изъясняться скрывали свое звание и невежество. Но этому не было виною наше правительство. Все эти люди никем не были покровительствуемы, не имели никаких бумаг, кроме паспортов, которые повсюду выдаются лицам низших сословий, если они не преступники и покидают отечество, с тем чтобы торгом или трудом добыт в чужом краю средства существования. Скорее можно было винить самих русских, потому что они с непонятною беспечностью принимали к себе в дома и даже доверяли свои дела людям, за способности и честность которых никто не ручался. Любопытно и забавно было видеть, каких странных людей назначали учителями и наставниками детей в иных домах в Петербурге и особенно внутри России. Если иногда обман открывался и таких господ выгоняли, сажали в тюрьму или ссылали, то они не могли жаловаться французскому посланнику: он не обязан был оказывать им покровительства. Но другое дело было с тремя изгнанными тогда французами; все трое были люди известные и достойные, и один из них, племянник герцога де Г., был даже представлен ко двору. Один из этих французов, чрезвычайно вспыльчивый и взбалмошный, в припадке гнева обругал и прибил другого, который отомстил ему низким доносом о предмете, нисколько не касавшемся их спора и подписанном, по преступной слабости, третьим, о котором я упомянул выше. Императрица, узнав через обер-полицеймейстера об этой драке и ложном доносе, велела выслать всех троих из России. Этот приговор был строг, но справедлив, и я бы не мог вмешаться в это дело, если бы Колиньеру не отказали сообщить требуемого им объяснения. Поэтому я счел нужным представить русским министрам неприличие этого поступка, противного взаимному вниманию, которое оказывают друг другу два двора для поддержания согласия между собою. Затем я требовал, чтобы жалоба моя была представлена императрице. Спустя несколько дней после того государыня удовлетворила меня вполне, приказав вице-канцлеру объяснить мне причины ее строгого решения и уверить меня, что впредь не будет решать таких дел, не предварив меня. В самом деле, с этих пор слова ее были исполняемы в точности.

Кстати, я расскажу историю об одном ловком, дерзком плуте, чтобы показать степень неблагоразумия петербуржцев, людей самых гостеприимных в мире, принимавших без разбору иностранцев. Этот смелый обманщик называл себя, помнится, *графом де Вернелем*. Он, по-видимому, был богат и несколько лет путешествовал. Он уверял, что, не имев прежде намерения быть в России, он не взял с собой никаких бумаг, нужных для предъявления нашему посольству, и показывал только какие-то неважные письма, будто бы писанные к нему какими-то немецкими или польскими дамами. Он хорошо говорил, был недурен собою, забавен, мило пел и играл и потому, как мне рассказывали, втерся в лучшее петербургское общество. Ему все удавалось, и все шло успешно. Но скоро в одном доме заметили пропажу столовых приборов, в другом пропали часы, там — табакерки и драгоценные вещицы. Так как эти вещи исчезали именно в тех домах, где бывал этот модный плут, то его стали подозревать, о нем стали поговаривать, наконец, на него донесли, хотели его схватить, но он скрылся. Тогда в России паспорта предъявлялись только при переезде через границу; внутри же России всякий мог беспрепятственно и свободно разъезжать от Балтийского моря до Черного, от Борисфена и Двины до Амура, отделяющего Китай от России, и до самой Камчатки. Только если кто-либо хотел выехать в чужие края из Петербурга, то должен был свой паспорт вытребовать за восемь дней до отъезда, чтобы между тем можно было объявить о выезжающем кредиторам и предохранить их от обмана. Самозванец граф, разумеется, не мог исполнить этих правил. Он об них и не заботился и, поехав на авось, достиг границы безо всякого вида. Тут он остановился в гостинице, пешком отправился к местному начальнику, сказал свое имя и велел о себе доложить. Лакей отвечал ему, что генерал только что встал, одевается и просит его подождать. Через несколько минут граф наш начинает сердиться, кричать и браниться, называет губернатора невежею и объясняет, что он не вышел бы из Польши, если бы знал, что в России встретит только варваров, грубых лакеев и невоспитанных губернаторов. Лакей тотчас же отправился к его превосходительству и рассказал ему, что пришедший иностранец расходился и бранит его так и так. Губернатор, вышедший из себя, велел схватить дерзкого незнакомца, посадить его немедленно в кибитку и высадить на польскую землю, о которой он так сожалел. Приказание немедленно было исполнено; а не прошло трех часов, как курьер из Петербурга привез губернатору повеление захватить мошенника.

Теперь возвратимся к политике. Исполняя данные мне наставления, я деятельно старался разузнать настоящие намерения русского правительства относительно дел, важных для нашего двора. Все, что говорил мне Стакельберг в Варшаве, оправдывалось совершенно. То, что я слышал от многих лиц, достойных доверия, послужило мне доказательством, что императрица, несмотря на участие, с которым она, казалось, приняла предложение об обмене Баварии, нисколько не желала способствовать распространению австрийских владений и ослабить через это влияние свое на Германию. О несогласиях Иосифа II с Голландиею думали иначе; Потемкин желал, чтобы они продлились долее: он надеялся между тем исполнить преднамеренные им завоевания в Турции. Он предвидел ясно, что Франция, начав войну с императором, уже не может препятствовать честолюбивым видам Екатерины на Восток.

Скоро стало известным, что императрица снаряжает в Черном море пять линейных кораблей и восемнадцать фрегатов. Она была недовольна англичанами, потому что они не разделяли ее политических планов. Питт был лично не расположен к ней; он не мог допустить владычества огромной морской державы на востоке. К тому же императрица провозглашением начал вооруженного нейтралитета посеяла семена раздора между Англиею и Россиею. Англичане уже стали опасаться потерять торговые выгоды, исключительно им предоставленные в России. Посланник их деятельно старался удалить опасность; купцы их, расточая подарки и услуги, нашли возможность увеличить в Петербурге количество вывоза товаров и уменьшить привоз их; с другой стороны, они грозили русским министрам и купцам, что если их стеснения будут продолжаться, то они замедлят ход торговли и лишат сбыта русские товары. В самом деле, английские негоцианты образовали в Петербурге целую грозную колонию. Разбогатев торговыми оборотами и находясь под покровительством своего благоразумного правительства, которое не потворствует частным выгодам, а имеет всегда в виду общее благо, они до того размножили свои заведения и дома, что занимали в Петербурге целый квартал, называемый Английскою линиею. Их соединял общий интерес; они имели правильные совещания старшин, хороший устав и всегда друг друга поддерживали. Они сообща устанавливали на целый год смету торговых оборотов, определяли ценность товаров и даже вексельный курс. При продаже товаров своих русским они предоставляли им кредит на восемнадцать месяцев, а сами покупали у них на чистые деньги пеньку, мачтовый лес, сало, воск и пушной товар. Вот какова была сила, с которой я должен был бороться в стране, где было только несколько одиноких наших купцов и один лишь значительный торговый дом Рембера (Raimbert), который с трудом и ловкостью держался среди нападок и препятствий всякого рода. Русские считали торг с англичанами необходимым для сбыта своих произведений и находили мало выгод в торговых сношениях с французами, которые покупали у них мало, а продавали много и дорого.

Когда англичане, пугая русских, остановили запрос на пеньку, я, пользуясь этим обстоятельством, присоветовал нашим министрам потребовать пеньки на большую сумму. Но мой совет исполнили поздно и не вполне. Петербургские англичане вредили нам даже во Франции. Купцы нантские и бордоские, обманутые их выгодными предложениями и опасаясь переездов и таможен, поручали англичанам и голландцам перевозку своих товаров в Россию. Мы почти исключительно снабжали Россию кофеем, сахаром и вином; но, пользуясь нашею беспечностью, иностранцы лишали нас большой прибыли и вместе с тем увеличивали свои морские силы, которые впоследствии обратили против нас же. Этою перевозкою заняты были ежегодно до 2000 судов, между тем как в русские порты входило не более 20 французских судов.

Выгоды положения англичан делали их иногда до того требовательными, что они начали надоедать графу Воронцову; я это заметил из его разговора. Но он был еще сильно к ним привержен, и я выжидал благоприятнейших обстоятельств, чтобы разочаровать его. Мне легче было преклонить к себе князя Потемкина, потому что англичане явно противудействовали его видам относительно торгового сообщения между Херсоном и Марселем.

Со дня на день императрица становилась ко мне благосклоннее. На большом балу у графа Разумовского она пригласила меня играть с нею, долго говорила и была особенно ласкова со мною. Это меня ободрило, и я стал действовать решительнее. Я жаловался Безбородку и Остерману на проволочку дела об удовлетворении марсельских купцов. Я повторил им, в чем состоят наши требования, и доказал им основательность их. Потом старался объяснить им, что если они откажут нам в справедливом удовлетворении или замедлят его, что будет равносильно отказу, то нарушат высокие правила, начертанные государынею при объявлении вооруженного нейтралитета. Министры извинялись в общих выражениях, ссылаясь на то, что расстояния огромны и что поэтому трудно получать верные сведения и произвести надлежащую оценку, что много и других затруднений. Впрочем, они обещали решить это дело вскоре, но это обещание было не раз сделано моим предшественникам, и все напрасно. Я написал Верженню и предложил ему принять более действительные меры для окончания этого дела и даже грозить возмездием (represailles), если русское правительство не вознаградит нас выгодами, какие мог бы нам доставить торговый трактат с Россиею. Я старался даже довести до сведения министров мое собственное мнение по этому делу и впоследствии узнал, что моя настойчивость нисколько не возбудила негодования императрицы, но, напротив того, понравилась ей. Впрочем, зная государыню, я был в этом уверен заранее.

Находясь по этому случаю в частых сношениях с русскими министрами и познакомясь с несколькими приближенными к ним лицами, я имел возможность разведать их образ мыслей, который они тщательно скрывали. Они не разделяли политических мнений князя Потемкина и не любили его. Они искренно желали мира, потому что война и завоевания не представляли им никаких личных выгод, напротив того, затрудняли ход их дел и были гибельны для всего государственного состава. Воронцов опасался, чтобы война не прервала торговых сношений, Безбородко предвидел многочисленные препятствия в делах дипломатических, и все они боялись возрастания могущества Потемкина. Дворяне, нисколько не желая завоевания каких-нибудь степей, знали только, что понесут новые тяжкие повинности, необходимые для умножения армии. Только некоторые генералы и молодые офицеры желали войны, сулившей им славу и награды. Впрочем, исключая последних, все скрывали свои мысли, опасаясь лишиться благосклонности государыни. Приближенные к ней особы боялись представить ей откровенно, как опасен был тогда ее несбыточный замысел восстановления Греческой империи.

Я скоро заметил, что хотя министры видимо оказывали более внимания к Кобенцелю и Фитц-Герберту, чем ко мне, они, однако же, рады были моей приязни с князем Потемкиным. Они были уверены, что, следуя политике моего двора, я воспользуюсь этою приязнию, чтобы умерить пыл князя, и постараюсь расположить его к миру, представив ему на вид, что многие первенствующие европейские державы будут дружно сопротивляться исполнению его замыслов, грозивших нарушить всеобщее спокойствие Европы. Прусский министр хотя и не мог действовать в мою пользу своими настояниями, однако должен бы был помогать мне советами и сообщением разных сведений, но нрав его был таков, что он больше вредил мне, чем помогал. Своею поспешностью и беспокойством он совершенно оправдывал то, что король Фридрих сказал мне о нем: «Он без разбора верил всем ложным известиям, какие ему удавалось слышать от людей недовольных». Вместо того чтобы радоваться моему сближению с Потемкиным, он стал меня подозревать и вообразил себе, что мы хотим предать Голландию императору, а турок — Екатерине. Ежеминутно ожидал он объявления всеобщей войны. С другой стороны, Потемкин, объясняя в пользу своих замыслов высказанное мной желание сблизить Францию с Россиею, надеялся завлечь нас в свою систему и изредка намекал мне о разделе земель, которыми владеют мусульмане, или, лучше сказать, которые они опустошают.

Я не мог соглашаться с этими предположениями, потому что они были совершенно противны мирным намерениям моего короля, и, не давая дельного ответа, обращал намеки князя в шутку. Незаметным образом отклонил я его внимание от этого предмета и заговорил о средствах к оживлению торговли полуденной России. Получив почти неограниченную власть над южными областями империи и желая сравнять их с северными, он не мог не признать несомненной истины, что мы одни только можем открыть пути для сбыта произведений этого огромного, но почти пустынного края, который государыня поручила ему населить, просветить, обогатить и подчинить правильному устройству. Со дня на день он говорил мне об этом все с большим жаром, откровенностью и доверчивостью. Наконец, он выразил даже готовность, если бы я этого пожелал, заключить частный трактат о торговле между южными областями России и Франции. Но чем охотнее выказывал он свою готовность заключить такой частный договор, тем упорнее отклонял я это намерение. Верженнь был слишком тонок, чтобы согласиться на это, потому что, если бы мы дались в обман, то лишились бы надежды заключить общий торговый договор. Потемкин, удовлетворив требованиям подведомых ему областей, не стал бы много заботиться о прочих и оставил бы меня без помощи, а без его содействия я бы встретил непреодолимые препятствия и не сладил бы с ловким Фитц-Гербертом и деятельными английскими купцами. Было бы слишком невыгодно для Франции, при невозможности пользоваться северною торговлею, которой овладели англичане, довольствоваться одним лишь южным краем, где ничего еще не было устроено.

Мне нужно было доказать князю, что торговое развитие подведомых ему южных областей зависит от союза с нами и от заключения торгового трактата, и тогда я мог надеяться, что, при первом удобном случае, он поможет мне своим влиянием. Вот что я ему говорил: «Так как вы сознаете пользу всеобщей конкуренции и невыгоду исключительных преимуществ в торговле, то зачем же вы допускаете монополию некоторых народов, так что Россия, а равно и Франция получают из вторых рук товары, которые можно было бы обменивать непосредственно? Мы желаем только, чтобы формальный общий договор установил равенство взаимных прав и преимуществ; тогда купцы наши, в уверенности найти праведный суд и вознаграждение в случае убытков, были бы поощрены и освобождены от грозного превосходства народа, пользующегося исключительным покровительством».

«Но как же вы хотите, — возражал князь, — чтобы мы пошли наперекор насущным нуждам наших купцов и помещиков? Требования англичан на наши товары очень велики, а с вашей стороны они незначительны, и потому у нас вообще полагают, что союз с вами скорее послужит нам во вред, чем в пользу, и что нам некуда будет сбывать наши товары, если прервутся сношения с Англиею. Британское правительство поддерживает, оживляет, поощряет свою торговлю и нашу; ваше правительство в этом отношении действует вяло, беззаботно. Ваши купцы робки, непредприимчивы; у вас здесь всего один надежный торговый дом, и народ наш почти не знает ваших негоциантов».

На это я старался доказать ему, что незначительность нашей торговли в России есть необходимое последствие невыгодных для нее учреждений. «Безрассудно было бы, — прибавил я, — нашим купцам пускаться в торговлю в стране, где правительство своим тарифом доставляет до 12 1/2 процентов прибыли их соперникам. Давая такие несправедливые преимущества во вред нам и самим себе, вы подражаете португальцам и в отношении к Англии ставите себя в положение колонии, зависящей от своей метрополии. Преимуществами, которые вы ей предоставляете, вы до такой степени подчиняетесь ей, что ваши купцы и помещики, как вы сами сказали, не могут обойтись без нее. Но разорвите эти роковые преграды, и вы увидите, какие выгоды доставит вам соперничество народов, которые станут покупать ваши произведения. Вы напрасно считаете нашу торговлю незначительною: она сильна и обширна в Индии, Америке, Африке, во всех портах Европы, кроме русских, где не дают ей ходу ваши торговые постановления».

Эти доводы, кажется, подействовали на князя, но еще не убедили его окончательно. Однако мы условились переговорить об этом деле основательнее и тайком, потому что в ту минуту обстоятельства еще не довольно выяснились. С другой стороны, я не мог предпринимать решительных мер, потому что в случае отказа правительство наше могло бы оскорбиться. На всякий случай я известил Вержения об этом разговоре и, чтобы знать, как мне действовать вперед, просил его уведомить меня предварительно, согласится ли король в случае заключения договора принять правила вооруженного нейтралитета, сбавить пошлины на русские кожи, освободить русские суда в Марселе от двадцатипроцентного сбора, закупать ежегодно значительное количество пеньки, конопли и солонины для французского флота и захотят ли наши генеральные арендаторы (fermiers-generaux) забрать на большую сумму украинского табаку, за доброту которого здесь поручатся; наконец, если соглашение будет основываться на утверждении взаимных преимуществ, то уполномочит ли меня его величество заключить договор, на возможность которого я уже рассчитываю до некоторой степени.

В конце апреля 1785 года я испросил себе у императрицы аудиенцию, чтобы вручить ей письмо короля с известием о рождении герцога Нормандского — несчастного ребенка, второго сына короля, который по смерти старшего едва лишь стал наследником престола, как был заключен в темницу, где смерть сразила его во цвете лет. Императрица на этот раз снова была ко мне весьма благосклонна и удостоила довольно продолжительным разговором. Вскоре после того вице-канцлер объявил мне от имени государыни, что она желает, чтобы с французами обращались в России так же, как обращаются с ее подданными, что она против воли должна была строго наказать троих из моих соотечественников и что если впредь представится такой же неприятный случай, то меня немедленно предуведомят об этом. В то же время пришло известие, что турки подвигали войска к Силистрии и Украине; это встревожило русских и дало основательный повод к жалобам со стороны австрийцев. Граф Остерман говорил мне об этом с недовольным видом и сказал, что деятельность этих варваров ясно доказывает, что им *подают советы и подстрекают*. Я уверял его, что политика нашего правительства миролюбивая и прямая, что мы никогда никого *не подстрекаем*, а стараемся только удерживать алчных к завоеваниям и угрожающих спокойствию Европы. «Я желал бы поверить этому, — отвечал вице-канцлер, — потому что мы не можем понять, для чего Франция старается образовывать, обучать и делать опасными варваров, издавна бывших грозою Европы?» Я отвечал, улыбаясь, что, при бессилии их, мы только желаем им покоя, и если кто-нибудь его нарушит, то возникнут раздоры между европейскими державами.

Граф Остерман не имел большого веса, стало быть, и слова его не много значили. Но вскоре сам Потемкин сказал мне почти то же. «Дивлюсь, — сказал он, — каким образом просвещенные, тонкие, любезные французы с такою настойчивостью поддерживают варварство и чуму? Как вы полагаете: если бы такие соседи ежегодно вторгались к вам, грабили, заносили язву и уводили бы сотни христиан в рабство, а мы бы стали препятствовать их изгнанию, каково бы вам это показалось?»

Чтобы соединить мое собственное мнение с чувством долга, я отвечал, что, разумеется, должно желать рассеяния невежества и распространения просвещения по всему земному шару. «Но, — присовокупил я, — варварство и чума не единственные бичи человечества; я могу назвать другие, не менее разрушительные — это честолюбие и алчность к завоеваниям. Если бы главнейшие европейские державы, действуя совокупно и без всякой корыстной цели, имея в виду лишь общее благо, захотели водворять просвещение по берегам африканским, в Тунисе и Алжире, в странах, которые некогда процветали, а теперь опустошаются дикими магометанами, это был бы подвиг, достойный похвалы. Но об этом нечего и думать; это так же несбыточно, как вечный мир, воображаемый аббатом Сен-Пьером. Правительство наше старается обеспечить спокойствие турок для того только, чтобы не нарушить равновесия Европы».

«Так зачем же они нас тревожат? — возразил князь. — По моему мнению, если ведомо, что соседи заняты грозными приготовлениями к войне, то должно предупредить зло, напасть на них и обессилить, по крайней мере, лет на двадцать».

Это возражение было бы хорошо, если бы оно было искренно. Но вспомним, что в то время русские уже владели Крымом, перешли через Кавказ, приближались к Турции через Грузию и потому не без причин внушали опасение турецкому правительству. Впрочем, так как из Вены было получено известие о дипломатических совещаниях в Париже для примирения Голландии с Австрией, повод к войне устранился, прусский король был успокоен, и Екатерина оставила или, по крайней мере, отложила на время намерение беспрепятственно завоевать Турцию.

С этой поры Потемкин в частых разговорах со мною высказывал скорее опасение, чем желание войны. Он сказал мне, что русская армия состояла из 230 000 человек регулярных и 300 000 нерегулярных войск. Но я узнал из довольно достоверных источников, что она далеко не достигала такой полноты, что дисциплина ее и обучение были в небрежности, что при беззаботности князя полковые командиры наживались, так что даже не скрывали этого и считали делом совершенно естественным и законным получать таким образом от 20 до 25 тысяч рублей ежегодной прибыли. Наконец, еще одно обстоятельство должно было, по-видимому, умерить честолюбие Екатерины: торговля и земледелие не были еще довольно производительны, а потому и доходы недостаточны, и Россия в этом году должна была сделать заем в Голландии.

Между тем маршал де Кастри предупреждал меня о скором прибытии в Кронштадт фрегата с несколькими королевскими судами для закупки в России и доставки во Францию разных запасов для флота. По этому случаю меня ожидали новые переговоры и хлопоты, так как за год пред тем такие же суда прибыли в Ригу, отказались от платежа требуемых пошлин и так и уехали, не внеся их. Но впоследствии, несмотря на сопротивление консула, французских купцов заставили выплатить требуемую сумму. Другие народы берут товары только на торговые суда; мы же ошибочно полагаем, что наши казенные суда с товарами могут пользоваться исключительными правами, в сущности приличными только военным судам.

Верженнь, сообразуясь с ходом дел, предписывал мне при встрече с Потемкиным по возможности избегать толков о политике, он желал, чтобы предметом наших разговоров были дела торговые. Но мне совершенно невозможно было предписать себе в этом отношении такие тесные границы: переход от одного предмета к другому неизбежен. Например, я как-то жаловался князю на невнимание других русских министров к нашим торговым делам. На это он мне сказал:

— Холодность эта происходит от того, что они не уверены в искренности вашего желания сблизиться с нами; они совершенно уверены, что вы подстрекаете турок к войне.

— Мы вовсе их не подстрекаем, — отвечал я, — но мы можем потерять всякое политическое влияние, если, зная о ваших действиях на Кавказе и в Грузии, о деятельном вооружении войск и недружелюбном поведении ваших консулов в Архипелаге, мы не станем советовать Порте думать об обороне и не доверяться слепо вашим мирным уверениям.

— Нам приписывают предприятия, о которых мы и не помышляем, — отвечал князь. — Я знаю, что распускают ложные слухи о восстановлении Греческой империи, о будущем назначении и судьбе великого князя Константина. Меня представляют каким-то алчным завоевателем, вечно возбуждающим к войне; все это выдумки. Я очень хорошо знаю, что разрушение Турецкой империи есть дело безумное; оно потрясет всю Европу. К тому же если бы в самом деле мы имели такое намерение, то разве не согласились бы прежде с Франциею? Но будьте уверены, что теперь мы ничего не желаем, кроме мира. Можете ли вы сказать то же, действуя за турок даже и тогда, когда их еще не трогают? Для чего недавно еще вы послали в Константинополь инженера и офицеров французской армии, которые только и толкуют, что о войне?

Я отвечал:

— Ваши грозные приготовления в Крыму, вооружение эскадры, которая в тридцать шесть часов может явиться под Константинополем, так же как ваши действия в Азии, заставляют нас, как союзников турок, советовать им предпринять нужные меры, чтобы поставить себя в оборонительное и грозное положение.

— Хорошо, — сказал Потемкин, — я готов письменно заверить вас, что мы не затронем турок, но помните, что если они нападут на нас, то быть войне, и мы пойдем как можно далее.

— Если вы хотите только мира, — возразил я, — то имеете верное средство достигнуть его сближением с нами. Когда мы станем действовать согласно, то нашего влияния будет достаточно, чтобы поддержать спокойствие в Европе.

Между тем как я по долгу своему старался указывать министрам Екатерины те неодолимые препятствия, которые государыня их должна будет встретить прежде, нежели овладеть Константинополем, Потемкин, не переставая уверять меня, что императрица не желает войны, доказывал мне, что если она вынуждена будет начать ее, то легко и скоро достигнет своей цели. «Вы хотите, — говорил он мне, — поддерживать государство, готовое к падению, громаду, близкую к расстройству и разрушению. Изнеженные, развращенные турки могут убивать, грабить, но не могут сражаться. Для победы над ними не нужно даже много искусства; в продолжение сорока лет в каждую войну они впадают в те же ошибки и терпят постоянный урон. Они не умеют пользоваться уроками опыта. В суеверной гордости приписывают они наши победы какому-то злому духу, который передает нам свое знание, свои изобретения и уменье вести войну; причиною же их поражений — один аллах, карающий их за грехи. При первом воззвании к войне толпы их выступают из Азии, приближаются в беспорядке и истребляют в один месяц весь запас продовольствия, заготовленный на полгода. Пятисоттысячное войско стремится, как река, выступившая из берегов. Мы идем на них с армиею из 40 или 50 тысяч человек, размещенных в три каре, с пушками и кавалериею. Турки нападают на нас, оглашая воздух своими криками; обыкновенно они строятся треугольником, в вершине которого становятся отважнейшие из них, упитанные опиумом; прочие ряды, до самого последнего, замещены менее храбрыми и, наконец, трусами. Мы подпускаем их на расстояние ружейного выстрела, и тогда несколько картечных залпов производят беспорядок и страх в этой нестройной толпе. Несколько отчаянных, разгоряченных опиумом, бросаются на наши пушки, рубят их и падают под нашими штыками. Когда эти погибли, прочие пускаются бежать. Наша кавалерия преследует их и производит страшную резню; она гонится за ними до их стана и овладевает им. Оставшиеся из них, ошеломленные, прячутся за городскими стенами, где их ждет чума и часто истребляет прежде, чем мы успеем сделать приступ. Этого довольно, чтобы дать понятие о всякой другой кампании, потому что всегда они оказываются такими же трусами и невеждами, и мы поражаем их всегда одними и теми же средствами. Они храбры только за своими окопами; да и тут, при осадах, как глупо они действуют! Они делают беспрестанные вылазки и, вместо того чтобы стараться нас обмануть, безрассудством своим обнаруживают все свои намерения. Во-первых, мы уже всегда заранее знаем, что они нападут на нас в полночь. К тому же они в тот день непременно выставляют на стене с той стороны, откуда намерены выйти, столько лошадиных хвостов, сколько отрядов наряжено для вылазки. Поэтому мы знаем наперед час нападения, число нападающих, ворота, из которых они выйдут, и направление, по которому сделают свое движение».

Разумеется, этот рассказ был несколько преувеличен, но в основании его была истина: инженер Лаффитт, посланный отцом моим в Константинополь, чтобы дать туркам несколько наставлений и помочь им обороняться, в письмах своих ко мне передал несколько случаев, доказывающих безрассудство турок... (Следующие за этим подробности о турках выпущены при переводе по своей незначительности. (Здесь и далее прим. переводчика.))

Императрица, имея пред собою таких бессильных и безрассудных врагов, откладывала свои намерения только потому, что опасалась оружия Швеции, Пруссии и Франции, а может быть, и английского флота. Поэтому я доверялся, по крайней мере, на время мирным уверениям русского правительства.

В это время, в мае 1785 года, императрица издала знаменитый указ о дворянстве. Изложение этого законоположения заняло бы здесь слишком много места. Скажу только, что особенно замечательно показалось мне распределение дворян по классам, так что старинное дворянство причислено было к шестому, дворянство завоеванных областей к пятому, а пожалованное грамотами к двум первым. Вероятно, это было сделано с тою целью, чтобы показать, что приобретенные отличия предпочтительнее старинного титула. Этим же указом дворянам предоставлено было право заводить фабрики, собираться для совещаний и подавать прошения монарху.

Около этого же времени я совершенно неожиданно получил от императрицы знак ее благоволения. Она предложила мне сопутствовать ей в поездке по России, которую она намеревалась совершить для осмотра работ, предпринятых для окончания канала, соединяющего Каспийское море с Балтийским через Ладожское озеро, Волхов, озеро Ильмень, Мету, Тверцу и Волгу. Ее величество объявила мне, что во время путешествия правила этикета будут изгнаны и что только немногие лица удостоятся чести следовать за ней. Я поручил Колиньеру заменить меня в совещаниях с министрами и по заведенному порядку отправлять депеши нашему кабинету. До отъезда моего я получил письмо от Вержения, приятное для меня, потому что он предписывал мне отвечать Потемкину о турках, нашей торговле и политике именно в том смысле, в каком я говорил с ним. Вскоре заметил я в обращении русских министров со мною некоторую перемену, внушенную им явным благоволением ко мне императрицы. В разговорах со мною они уже стали поговаривать о пользе взаимности между нашими дворами.

Когда я приехал в Царское Село, императрица была так добра, что сама показывала мне все красоты своего великолепного загородного дворца. Светлые воды, тенистая зелень, изящные беседки, величественные здания, драгоценная мебель, комнаты, покрытые порфиром, лазоревым камнем и малахитом, — все это представляло волшебное зрелище и напоминало удивленному путешественнику дворцы и сады Армиды. Императрица сказала мне, что, узнав о поручении нашего правительства Лаперузу пополнить наблюдения, сделанные знаменитым Куком по русским берегам Тихого океана, и предвидя, что по приближении к северу он может встретить русского капитана, которому велено обогнуть Чукотский мыс и осмотреть северные берега Америки, она приказала этому моряку в случае встречи с королевскими судами отдать им должный почет. Я уверил ее, что Лаперуз, без сомнения, получит соответственные приказания относительно императорских судов. При этом я сказал ей, что легко и вместе с тем приятно предвидеть, сколько союз двух могущественных монархов может придать славы их веку, что, видя их соревнование в делах, касающихся блага человечества, нельзя не предполагать, что они не замедлят сблизиться и в своих политических правилах.

При совершенной свободе, веселой беседе и полном отсутствии скуки и принуждения, один только величественный дворец напоминал мне, что я не просто на даче у самой любезной, светской женщины. Кобенцель был неисчерпаемо весел; Фитц-Герберт выказывал свой образованный, тонкий ум, а Потемкин — свою оригинальность, которая не оставляла его даже в нередкие минуты задумчивости и хандры. Императрица свободно говорила обо всем, исключая политики; она любила слушать рассказы, любила и сама рассказывать. Если беседа случайно умолкала, то обер-шталмейстер Нарышкин своими шутками непременно вызывал на смех и остроты. Почти целое утро государыня занималась, и каждый из нас мог в это время читать, писать, гулять, одним словом, делать, что ему угодно. Обед, за которым бывало немного гостей и немного блюд, был вкусен, прост, без роскоши; послеобеденное время употреблялось на игру или на беседу; вечером императрица уходила довольно рано, и мы собирались у Кобенцеля, у Фитц-Герберта, у меня или у Потемкина.

Однажды, помню я, императрица сказала мне, что у нее околела маленькая левретка *Земира*, которую она очень любила и для которой желала бы иметь эпитафию. Я отвечал ей, что мне невозможно воспеть Земиру, не зная ее происхождения, свойств и недостатков. «Я полагаю, что вам достаточно будет знать, — возразила императрица, — что она родилась от двух английских собак: *Тома* и *Леди*, что она имела множество достоинств и только иногда бывала немножко зла». Этого мне было довольно, и я исполнил желание императрицы и написал следующие стихи, которые она чрезвычайно расхвалила:

Epitaphe de Zemire.

Ici mourut Zemire, et les Graces en deuil  
Doivent jeter des fleurs sur son cercueil.  
Comme Tom, son aieul, comme Lady, sa mere,  
Constante dans ses gouts, a la course legere,  
Son seal defaut etait un peu d'humeur;  
Mais ce defaut venait d'un si bon coeur.  
Quand on aime, on craint tant Zemire aimait tant celle  
Que tout ie monde aime comme elle!  
Voulez-vous qu'on vive en repos,  
Ayant cent peuples pour rivaux?  
Les dieux, temoins de sa tendresse,  
Devaient a sa fidelite  
Le don de Pimmortalite,   
Pour qu'elle fut toujours aupres de sa maitresse.

(Здесь пала Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее предок, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток — была немножко сердита; но сердце ее было доброе. Когда любишь, всего опасаешься, а Земира так любила ту, которую весь свет любит, как она! Можно ли быть спокойною при соперничестве такого множества народов? Боги, свидетели ее нежности, должны были бы наградить ее за верность бессмертием, чтобы она могла находиться неотлучно при своей повелительнице.)

Императрица велела вырезать эти стихи на камне, который был поставлен в царскосельском саду.

Третьего июня мы отправились в путь. Поезд состоял из двадцати карет. В экипаж императрицы попеременно садились Потемкин и Кобенцель или Фитц-Герберт и я. Постоянно же пользовалась этою честью всегда находившаяся при ней г-жа Протасова, тетка графини Растопчиной, блиставшей в Париже своим умом, образованием и добродетелью, и любимец императрицы, флигель-адъютант Ермолов; кроме того, иногда она приглашала к себе обер-шталмейстера. Екатерина, будучи много раз обманута легкомыслием и завистливостью некоторых знатных дам, которых она удостоивала своего доверия, принимала в свой тесный круг только г-жу Протасову, которой был поручен надзор за фрейлинами. Кроме нее, она изредка допускала к себе одну из племянниц Потемкина, графиню Скавронскую.

Императрица ехала без всякого конвоя: она напоминала стих Вольтера про Лая:

Comme il etait sans crainte, il marchait sans defense.

(Бесстрашный, он шел, не нуждаясь в защите)

Мы трогались с места по утрам, в восемь часов. Около второго часу останавливались для обеда в городах или селах, где все уже было приготовлено так, чтобы императрица нашла те же удобства, что в Петербурге. Мы всегда обедали с государыней. В восемь часов пополудни мы останавливались, и вечер императрица по обыкновению проводила в игре и разговорах. Каждое утро, поработав с час, Екатерина, перед отъездом, принимала являвшихся к ней чиновников, помещиков и купцов того места, где останавливалась; она допускала их к руке своей, а женщин целовала и после этого должна была уходить в туалетную, потому что, по общему обыкновению в России, все женщины, даже мещанки и крестьянки, румянились, и по окончании такого приема все лицо государыни было покрыто белилами и румянами. В каждом городе императрица тотчас по приезде своем отправлялась в местную церковь и молилась.

Через четыре или пять дней мы доехали по дороге, незаметно отлогой, до Вышнего Волочка — самого возвышенного места на огромном пространстве между Северным и Черным морями, не пересекаемом поперечными горами. Здесь, на этом высоком месте, мы видели знаменитые шлюзы, которые сдерживают течение нескольких рек и передают воду в каналы Тверцы и Меты для сообщения с Каспием по Волге и для сплава к Петербургу произведений юга; этот судоходный путь поддерживает и обогащает целые огромные области. Работы, предпринятые для устройства этих шлюз<ов>, могут сделать честь самому искусному инженеру. Между тем они были соображены и исполнены в царствование Петра I простым крестьянином Сердюковым, который никогда не путешествовал и ничему не учился. Ум часто пробуждается воспитанием, но гений бывает врожденным. Преемники Петра Великого не радели об усовершенствовании этого великого и полезного дела, но императрица деятельно об нем заботилась. Она велела заменить деревянные постройки каменными и провести к каналу несколько новых притоков и предположила прорыть еще два канала: один — для соединения Каспийского моря с Черным и другой — для соединения Черного с Балтийским через Днепр и Двину.

На пути нашем мы везде видели осушенные болота, строящиеся селения, города, вновь основанные или обновленные. Повсюду народ, как будто торжествуя свои победы над природою, добываемые без крови и слез, усердно выражал своей повелительнице чувства искренней преданности. Толпы крестьян падали пред нею на колени, вопреки ее запрещению, потом поспешно вставали, подходили к ней и, называя ее *матушкою*, радушно говорили с нею. Чувство страха в них исчезало, и они видели в ней свою покровительницу и защитницу. После небольшого роздыха мы предполагали проехать по берегу Меты, чтобы миновать пороги, затрудняющие плавание по этой реке до самых Боровичей, где мы должны были сесть на суда. Но Екатерина подготовила нам неожиданную перемену: не предупредив никого и не дав никаких предварительных приказаний, она изменила путь наш и поехала на Москву. Тамошний губернатор узнал об этом только за несколько часов до нашего прибытия.

Вид этого огромного города, обширная равнина, на которой он расположен, и его огромные размеры, тысячи золоченых церковных глав, пестрота колоколен, ослепляющих взор отблеском солнечных лучей, это смешение изб, богатых купеческих домов и великолепных палат многочисленных, гордых бар, это кишащее население, представляющее собою самые противоположные нравы, различные века, варварство и образование, европейские общества и азиатские базары — все это поразило нас своею необычайностью. Впрочем, в эту первую мою поездку в Москву я успел только вскользь осмотреть ее: мы пробыли в ней только три дня. Екатерина показала нам свои дворцы в Петровском, Коломенском и Царицыне, городские сады и чудный водопровод, устроенный по ее распоряжению. После этого мы снова отправились до Боровичей через Тверь, Торжок и Вышний Волочек. Императрица, желая ознаменовать свое краткое пребывание в Москве благодеянием, увеличила городской доход и дала еще значительную сумму для учреждения больницы в здании, где прежде, при Анне и Елисавете, помещалась тайная канцелярия. В Твери она также оставила память по себе своими пожертвованиями. Тверь очень красивый город. При взгляде на толпу горожанок и крестьянок в их кичках с бусами, в их длинных, белых фатах, обшитых галунами, богатых поясах, золотых кольцах и серьгах можно было вообразить себе, что находишься на каком-нибудь древнем азиатском празднестве.

В Боровичах мы пересели на красивые галеры; особенно великолепна была галера, назначенная для императрицы. В той, где поместили Кобенцеля, Фитц-Герберта и меня, были три изящно убранные комнаты и хор музыкантов, будивших и усыплявших нас сладкой музыкой.

Еще до этого плавания, когда мы ехали берегом в каретах, князь Потемкин и я вздумали для любопытства, не спрашивая позволения императрицы, проехать и спуститься через пороги на маленькой лодке. Говорили, что проезд опасен, что здесь пошло ко дну несколько судов. Императрице понравилась эта выходка, хотя она и пожурила нас за излишнюю отвагу.

При въезде в Ильменское озеро, которым проехали мы к Новгороду, мы насладились зрелищем, совершенно новым для нас. Все озеро, подобное тихому, светлому морю, было покрыто множеством шлюпок всех величин, разукрашенных пестрыми парусами и цветами. Рыбаки, крестьяне и крестьянки, находившиеся на них, наперерыв старались приближаться к нашим блистательным судам. Вокруг нас раздавались звуки музыки и клики и под вечер их мелодическое, простое и заунывное пение.

Во время этого недолгого плавания, воспользовавшись удобным случаем, я решился на попытку, которая не осталась без последствий и осуществила мое предположение, — заключить с Россиею выгодный торговый договор, после стольких тщетных попыток к тому с нашей стороны в продолжение сорока лет. Однажды, сойдя с галеры, на которой мы обедали с государыней, на этот раз, против обыкновения своего, задумчивой и молчаливой, я пошел с Потемкиным, тоже что-то неразговорчивым, на его галеру. После небольшого, бессвязного разговора, в продолжение которого он обнаруживал какое-то внутреннее беспокойство, хмурил брови и говорил сухо и отрывисто, я сказал ему:

— Любезный князь, вы нынче вовсе не так любезны, как обыкновенно: вы задумчивы, рассеянны; мне кажется, будто вы на меня сердитесь. Нельзя ли мне узнать причину этой перемены, которую я также заметил в холодном обращении императрицы. Не кроется ли тут какая-нибудь придворная сплетня?

— Да, — отвечал Потемкин, — императрица сегодня не в духе, и я также; но поводом к тому не вы, не ваше правительство, а английские министры; они действуют наперекор всем дружественным уверениям и расстраивают наши намерения. Я уже давно говорил императрице, да она мне не верила, что Питт не любит ее. Он всячески старается возбудить против нее вражду в Германии, Польше и Турции. Прусский король, всегда подозрительный, не может нам простить, что мы променяли его ненадежную дружбу на полезный союз с Иосифом II; он тревожится, хлопочет и вместе с другими курфюрстами составляет довольно опасный союз против Австрии. Он, таким образом, готовит новую войну в центре Европы, тогда как мы находим выгодным поддерживать там мир. Мы действовали заодно с императором и потому не слишком беспокоились о кознях Пруссии. Но теперь мы узнали из достоверного источника, что английский король, на которого императрица и император полагались, без всякого повода начинает действовать во вред нам и в качестве курфюрста ганноверского приступает к политической системе Фридриха и к его союзу. Эта перемена расстраивает все наши предположения. Все это проделка англичан. Меня это ужасно сердит, и я не знаю, что бы дал, чтобы отомстить им.

Негодование князя обнаружило мне его задушевную мысль, и я, пользуясь этим случаем, сказал ему:

— Если вы хотите отплатить им, то можете сделать это скоро и легко, и притом вы вправе это сделать: лишите их исключительных преимуществ в торговле, которыми они пользуются в России назло другим народам и во вред вам самим.

— Я вас понимаю, — возразил он тотчас, оживляясь и улыбаясь, — но слушайте, я буду говорить с вами как с другом. Двор ваш давно уже желает заключить торговый договор с нами; теперь приспело время — пользуйтесь им; вы увидите, что императрица уже оставила прежние свои предубеждения против Франции, она теперь недовольна англичанами. Не пропускайте такого благоприятного случая: предложите ей решительно условия договора и союза, и я даю вам слово, что буду помогать чем могу.

— Я охотно последую вашим советам, — возразил я, — но между нашими дворами давно уже водворилась такая холодность, что меня еще не уполномочили официально к подобной попытке, и хотя успех в этом деле обрадовал бы наш двор, но успех этот неверен, а потому я и не решусь действовать наобум; я боюсь оскорбить достоинство короля таким смелым предложением от его имени.

Князь помолчал несколько минут и потом сказал:

— Ваши опасения неосновательны. Впрочем, если вы уж до того осторожны, то послушайтесь моего совета: мы с вами не раз толковали о торговле; теперь предположите, что у меня память слаба, напишите мне то, что вы мне часто изъясняли, как личное ваше мнение; только изложите ваши мысли в виде конфиденциальной ноты; можете даже не подписывать своего имени. Таким образом, вы ничем не рискуете. Вы можете быть уверены, что я буду осторожен и что прочие министры узнают об этом уже тогда, когда вы получите удовлетворительный ответ, на основании которого вам можно будет без затруднения представить ноту официальным порядком, в обычной форме. Таким образом, вы можете получить ответ, не делая еще предложения. Но повторяю вам: куйте железо, пока оно горячо; принимайтесь за дело скорее, мне бы хотелось, чтобы оно уже было сделано.

На это я ничего не возражал и поспешил на свою галеру, убежденный, что надо скорее пользоваться этим дружелюбным расположением князя, потому что оно, вероятно, порождено гневом и может скоро охладиться. Я вхожу в свою комнату, ищу чернильницу... но она была заперта в комоде, а ключ от него мой камердинер унес и отправился кататься на шлюпке. Раздосадованный, вошел я в комнату Фитц-Герберта и, кажется, нашел его играющим в кости с Кобенцелем. Я объявил им, что хотел бы воспользоваться тем временем, покуда суда наши на якоре, и написать несколько писем, но что лакей мой ушел и я не могу достать ни пера, ни бумаги. Тогда Фитц-Герберт одолжил мне все, что мне было нужно, и я отправился к себе. Не знаю для чего некоторые лица, которым я рассказывал подробности моего путешествия, впоследствии напечатали это в виде анекдота, приписывая шалости то, что было делом случая. Мне было весьма досадно, если бы распространение этого анекдота могло хотя сколько-нибудь оскорбить Фитц-Герберта, которого я всегда уважал за ум и дарования, платил за его расположение дружбою и сохраню ее во всю мою жизнь. Дело в том, что легкомысленным людям показалось забавным рассказать, что я подписал торговый трактат пером английского посла, тогда как в самом деле я написал им только простую записку.

Следующую ноту я написал в течение двух часов и отнес к Потемкину. Я считаю нужным привести здесь эту импровизированную бумагу, потому что, по счастливому случаю, она имела такое важное влияние на успешный ход моих дел.

*Конфиденциальная нота*

Если когда-либо две державы должны были заключить торговый договор, так это Россия и Франция: этого требуют их положение, их произведения, их взаимная польза. Они слишком отдалены, чтобы вредить друг другу и чтобы между ними мог возникнуть повод к войне или вражде. По числу жителей и богатству они могли бы властвовать в Европе, если бы их политические виды были сходны. Между тем как огромные страны, их разделяющие, отдаляют от них причины к несогласиям, моря Средиземное, Черное и Балтийское, наконец, океан открывают им поприще для сбыта их произведений. Было бы слишком долго исчислять причины, по которым торговля между этими странами была всегда так слаба и шла по ложному направлению, вместо того чтобы идти по естественному пути, указанному положением этих стран и их взаимными выгодами. Французы принуждены были получать товары от русских и посылать им свои чрез посредство более счастливых англичан, которые пользовались двойными выгодами на счет обоих народов и все более и более утверждали свои преимущества, так что стали неизбежными покупателями... потому что неравенство в платеже пошлин и разные привилегии необходимо устранили всякое соперничество. Ныне царствующая императрица, правление которой достопамятно столькими улучшениями и уничтожением вредных предрассудков, кажется, намерена оживить торговлю возбуждением соперничества и уничтожением исключительных привилегий и признает свободу и равенство основою успеха торговли. Мнения короля французского совершенно согласны с мыслями ее величества. Он полагает, что теперь время устранить препятствия, мешавшие заключению торгового договора. Это тем нужнее для обоих государств, что императрица имеет ныне порты на Черном море. Мы находимся в самом выгодном положении для того, чтобы открыть места сбыта для южных областей империи, отправляющих свои произведения по дальнему, трудному пути к Балтийскому морю. Французские порты на океане по положению своему могут быть в сношениях с Ригою, Архангельском и Петербургом. С другой стороны, между нашими портами на Средиземном море и Херсоном могут возникнуть деятельные сношения. Россия всегда будет потреблять в большом количестве французские вина, и сахар, и кофе наших колоний. Франция, нуждаясь в разных предметах, необходимых для содержания флота, всегда охотнее будет покупать их в России, нежели в Америке. Она потребует также много пеньки, хотя имеет свою. Солонину она также лучше добудет из южнорусских областей, нежели из Ирландии. Кожами, салом, воском, селитрой природа наделила Украину и другие южные области; огромная империя изобилует тысячами иных произведений, и было бы долго исчислять все предметы, могущие увеличить собою количество вывоза и доходы России и вместе с тем доставить пользу Франции, которой выгоднее торговать непосредственно с Россиею, чем платить другим народам огромные суммы за русские товары. Такая взаимная мена так нужна Франции и России, что порты их немедленно наполнятся купеческими судами обеих стран, лишь только будут устранены препятствия, удерживающие благоразумных капиталистов от торга, в котором они должны опасаться соперников, пользующихся привилегиями. Однако уничтожение этих преимуществ и открытие всеобщего соперничества еще не достаточны для купцов, если между обоими народами не будет заключен договор для оживления торговли. Будет ли договор заключен для удовлетворения существенных потребностей, или только для удовлетворения желаний купцов, — во всяком случае, он дает им покровительство правительства. Только этим путем можно внушить им доверие, побуждающее к обширным торговым предприятиям. Пока не предпримут таких поощрительных мер в пользу наших купцов, они будут обращать свою деятельность на торг с нашими колониями, с Индиею, с Малой Азиею и с теми государствами, с которыми мы заключили договоры. Русские товары они получают из третьих рук; от этого возвышается их цена и уменьшается сбыт, ко вреду нашей и русской торговли. Несколько французских купцов, без денег и без кредита, водворяются в Петербурге, но не только не скрепляют торговых сношений обеих держав, а напротив, ослабляют их своими неудачами и неосторожными поступками. Но лишь только торговым договором водворится соперничество и равенство прав, сюда приедут купцы, достойные доверия, образуются торговые общества и взаимные выгоды возрастут вместе с увеличением требований. Теперь, когда, по-видимому, и петербургский, и версальский кабинеты сознали эти истины, нужно, кажется, сделать об этом более решительное предложение русскому правительству, и должно надеяться, что такая полезная сделка не встретит препятствий и что оба кабинета, для ускорения дела, сообщат друг другу свои мнения об этом важном предмете. Чтобы такой договор между Францией и Россией был прочен, нужно основать его на равенстве прав. Вследствие этого русские во Франции должны пользоваться всеми возможными преимуществами, какие имеют другие народы; они будут судимы в тех же судах, их товары будут обложены теми же пошлинами и выплачивать их они станут тою же монетой, как нация, пользующаяся во Франции самыми большими выгодами. Таковы в общих чертах предположения, которые мне дозволено высказать, если к тому представится удобный случай.

Намерения Потемкина не изменились по прочтении этой бумаги. Он расхвалил ее и не хотел мне ее возвратить, как я его ни просил. «Я возьму это, — сказал он с усмешкою, — покажу только императрице и обещаю после того тотчас же возвратить ее вам».

В самом деле, на другой день, лишь только он увидел меня, тотчас отдал мне мое писание и сказал: «Мне поручено передать вам ответ, вероятно, приятный для вас; государыня сама скоро подтвердит его. Она приказала сказать вам, что с удовольствием прочитала вашу ноту и находит ваши замечания справедливыми; ей нравится ваша доверчивость, она даже расположена к заключению желаемого вами договора и, когда приедет в Петербург, даст министрам своим нужные приказания, после чего вам уже можно будет действовать официально, без всяких опасений; она дает вам обещание, что предложения ваши будут приняты». Князь передал мне совершенную правду: когда мне случилось быть у императрицы, она отвела меня в сторону и сказала: «Вы уже знаете мой ответ. Уверения в дружбе, которые я недавно получила от вашего короля, побуждают меня охотно заключить договор, который нас сблизит еще более. Ваше доверие мне понравилось; мне весьма приятно видеть вас при себе, и я бы желала, чтобы переговоры об этом деле, важном для обоих государств, были бы ведены и окончены вами». Можно себе представить, как я был рад, что смелая попытка моя кончилась так удачно.

Через несколько дней после того мы проехали Ладожский канал и прибыли в Петербург 19/28 июня. Таким образом, мы в месяц совершили самую занимательную и приятную поездку.

Я получил письмо от Верження, который предписывал мне воспользоваться расположением ко мне графа Герца, чтобы успокоить его кабинет и доказать ему, что союз курфюрстов и старания прусского короля усилить этот союз послужат только к укреплению связи между Австрией и Россией.

В это время я часто бывал у императрицы в Царском Селе; она с жаром передавала мне ложные слухи, распускаемые в Европе об ее честолюбии, эпиграммы, на нее направленные, и забавные толки об упадке ее финансов и расстройстве ее здоровья. «Я не обвиняю ваш двор, — говорила она, — в распространении этих бредней; их выдумывает прусский король из ненависти ко мне, но вы иногда верите им. Ваши соотечественники, несмотря на мое расположение к миру, вечно приписывают мне честолюбивые замыслы, между тем как я решительно отказалась от всяких завоеваний и имею на это важные причины. Я желаю одного мира и возьмусь за оружие в том только случае, если меня к тому принудят. Одни неугомонные турки да пруссаки опасны для спокойствия Европы, а между тем мне не доверяют, а им помогают». В ответах моих было более вежливости, нежели убеждения, потому что, хотя Потемкин говорил мне точно то же, я замечал, что он только на время отложил свои честолюбивые намерения, но еще не отказался от них.

Раз как-то, рассказывая о грабежах кубанских татар и жестокостях визиря, он сказал мне: «Согласитесь, что турки — бич человечества. Если бы три или четыре сильные державы соединились, то было бы весьма легко отбросить этих варваров в Азию и освободить от этой язвы Египет, Архипелаг, Грецию и всю Европу. Не правда ли, что такой подвиг был бы и справедливым, и религиозным, и нравственным, и геройским подвигом? К тому же, — присовокупил он с усмешкой, — если бы вы согласились способствовать этому делу и если бы на долю Франции досталась Кандия или Египет, то вы были бы достойно награждены».

Я возразил, что такое приобретение нисколько не возбуждает моего честолюбия. И в самом деле, неловкий намек этот мне не понравился и придал мне в эту минуту твердости исполнить долг, несогласный ни с моими чувствами, ни с моим личным убеждением. Действительно, я никогда не постигал и теперь еще не понимаю этой странной и безнравственной политической системы, вследствие которой упрямо поддерживают варваров, разбойников, изуверов, опустошающих и обливающих кровью обширные страны, принадлежащие им в Азии и Европе. Можно ли поверить, что все государи христианских держав помогают, посылают подарки и даже оказывают почести правительству невежественному, бессмысленному, высокомерному, которое презирает нас, нашу веру, наши законы, наши нравы и наших государей, унижает и поносит нас, называя христиан собаками? Но в качестве посланника я должен был следовать данным мне инструкциям и действовать сообразно с ними.

Делая вид, что принимаю слова князя за шутку, несогласимую с его постоянным расположением к миру, я сказал ему:

— Любезный князь, вы, без сомнения, увлеклись, и потому не буду вам отвечать серьезно. Вы, человек рассудительный, без сомнения, поймете, что нельзя разрушить такое государство, как Турция, не разделив его на части, а в таком случае нарушатся все торговые связи, все политическое равновесие Европы. Раздоры заменят согласие, так медленно водворенное после долгих жестоких войн, которые возникли и длились вследствие яростных споров за веру, обременительного владычества Карла V и его вторжения в Италию, соперничества Франции и Англии, завоеваний Людовика XIV и беспрестанных честолюбивых замыслов австрийского дома насчет Германии. Окончить полюбовно этот раздел так же невозможно, как найти философский камень. Одного Константинополя довольно, чтобы разъединить державы, которые вы хотите заставить действовать заодно. Поверьте мне, что главнейший союзник ваш, император австрийский, никогда не допустит вас овладеть Турцией. Мне кажется, он даже как-то сказал, что *хотя он и не забудет страха, какой навели на Вену турецкие чалмы, но он стал бы еще более опасаться, если бы имел в соседстве войска в киверах и шляпах.*

— Вы правы, — воскликнул поневоле князь, — но мы все в этом виноваты! Мы всегда действуем дружно для дурных целей, а не для пользы человечества.

Не передавая всех этих подробностей своему правительству, я написал, однако, Верженню о моих разговорах по этому поводу с Потемкиным и другими министрами. Он вполне одобрил меня в том, что я успел показать русским, сколько препятствий мешает разрушению Турецкой империи, и рассеять подозрения Екатерины, полагавшей, что мы только и думаем, как бы возбудить смуты в ее империи и увеличить число ее врагов.

Императрица день ото дня все чаще доставляла мне случай видеть ее: я встретил ее на даче у обер-мундшенка и у обер-шталмейстера. Она предложила мне сопутствовать ей в поездке, которую намерена была сделать для осмотра оружейного завода в Систербеке. Во время этой прогулки, я помню, она много шутила по поводу толков о чрезвычайных издержках нашего двора и о беспорядках в отчетности этих расходов. Мне хотелось представить какие-нибудь оправдания на этот счет, хотя это и было довольно затруднительно. Не столько защищаясь, сколько возражая, я сказал:

— Такова уже участь великих монархов, занятых более государственными, нежели своими, делами и не вынуждаемых подражать Карлу Великому, который, на диво всем, сам считал произведения своих полей — хлеб, сено и даже огородные овощи и яйца. Но зато, ограниченный одними лишь доходами со своих владений, он не мог покрывать своих расходов податями, тогда еще неизвестными во Франции. Правда, государей наших обманывают; но позвольте мне сказать вам, что, судя по слухам, и вас, государыня, нередко обкрадывают. Это и неудивительно, потому что ваше величество не можете же сами заглядывать в кухню и конюшню и заниматься хозяйственными мелочами.

— Вы отчасти правы, отчасти нет, любезный граф, — возразила она. — Что меня обкрадывают, как и других, с этим я согласна. Я в этом уверилась сама собственными глазами, потому что раз утром рано видела из моего окна, как потихоньку выносили из дворца огромные корзины и, разумеется, не пустые. Помню также, что несколько лет тому назад, проезжая по берегам Волги, я расспрашивала побережных жителей о их жизни. Большей частью они питались рыболовством. Они говорили мне, что могли бы довольствоваться плодами трудов своих, и в особенности ловлею стерлядей, если бы у них не отнимали части добычи, принуждая их ежегодно доставлять для моей конюшни значительное число стерлядей, которые стоят хороших денег. Эта тяжелая дань обходилась им в 2000 рублей каждогодне. «Вы хорошо сделали, что сказали мне об этом, — отвечала я смеясь. — Я не знала, что мои лошади едят стерлядей». Эта странная повинность была уничтожена. Однако я постараюсь доказать вам, что есть разница между кажущимся беспорядком, который вы замечаете здесь, и беспорядком действительным и несравненно опаснейшим, господствующим у вас. Французский король никогда не знает в точности, сколько он издерживает; у него ничто не распределено и не назначено вперед. Я, напротив того, делаю вот что: ежегодно определяю известную, всегда одинаковую, сумму на расходы для моего стола, меблировки, театров, конюшни — одним словом, для содержания всего дома; я приказываю, чтобы за столом в моих дворцах подавали такие-то вина, столько-то блюд. То же самое делается и по другим частям хозяйства. Когда мне доставляют все в точности, в требуемом количестве и качестве, и если никто не жалуется на недостаток, то я довольна, и мне совершенно все равно, если из отпускаемой суммы сколько-нибудь украдут. Для меня важно то, чтобы эта сумма не была превышаема. Таким образом, я всегда знаю, что издерживаю. Это такое преимущество, которым пользуются немногие государи и даже немногие богачи из частных лиц. В другой раз, когда она хотела знать, что меня всего более поразило с тех пор, как я находился при ее дворе, я, пользуясь добрым расположением ее ко мне, осмелился сказать:

— Меня всего более удивляет ненарушимое спокойствие, которым ваше величество пользуетесь на троне, издавна обуреваемом грозами. Трудно постигнуть, каким образом, прибыв в Россию из чужих стран молодою женщиною, вы царствуете так спокойно и не бываете принуждены тушить внутренние смуты и бороться с домашними врагами и не встречаете никаких важных препятствий?

— Средства к тому самые обыкновенные, — отвечала она. — Я установила себе правила и начертала план: по ним я действую, управляю и никогда не отступаю. Воля моя, раз выраженная, остается неизменною. Таким образом все определено, каждый день походит на предыдущий. Всякий знает, на что он может рассчитывать, и не тревожится по-пустому. Если я кому-нибудь назначила место, он может быть уверен, что сохранит его, если только не сделается преступником. Таким путем я устраняю всякий повод к беспокойствам, доносам, раздорам и совместничеству. Зато вы у меня и не заметите интриг. Пронырливый человек старается столкнуть должностное лицо, чтобы самому заместить его, но в моем правлении такие интриги бесполезны.

— Я согласен, государыня, — отвечал я, — что такие благоразумные правила ведут к хорошим последствиям. Но позвольте мне сделать одно замечание: ведь и при обширном уме невозможно иногда не ошибиться в выборе людей. Что бы вы сделали, ваше величество, если б, например, вдруг заметили, что назначили министром человека, неспособного к управлению и недостойного вашего доверия?

— Так что же? — возразила императрица. — Я бы его оставила на месте. Ведь не он был бы виноват, а я, потому что выбрала его. Но только я поручила бы дела одному из его подчиненных; а он остался бы на своем месте, при своих титулах. Вот вам пример: однажды я назначила министром человека неглупого, но недостаточно образованного и неспособного к управлению довольно значительною отраслью государственных дел. Одним словом, ни в каком правительстве не нашелся бы министр менее даровитый. Что из этого вышло? Он удержал свое место, но я предоставила ему только незначительные дела по его ведомству, а все, что было поважнее, поручила одному из его чиновников. Помню, однажды ночью курьер привез мне известие о славной чесменской победе и истреблении турецкого флота; мне показалось приличным передать эту новость моему министру прежде, нежели он узнает ее со стороны. Я послала за ним в четыре часа утра; он явился. Надо вам сказать, что в это время он был чрезвычайно занят одной ссорой между своими подчиненными и, по случаю ее, даже забылся и сделал несправедливость. Поэтому он вообразил себе, что я собираюсь пожурить его за это. Когда он вошел ко мне, то, не дав мне сказать ни слова, начал меня упрашивать: «Умоляю вас, государыня, поверьте мне, я не виноват ни в чем, я в этом деле непричастен». — «Я в этом совершенно уверена», — отвечала я с усмешкой. Потом сообщила ему о блистательном успехе, увенчавшем предприятие, задуманное мною с Орловым, — отправить флот мой из Кронштадта, вокруг Европы, через Средиземное море и уничтожить турецкий флот в Архипелаге.

— Пример этот, государыня, — сказал я улыбаясь, — не многим может пригодиться. Мало таких мудрых государей, которые могли бы делать великие дела при посредственных и даже плохих министрах.

Верженнь знал, что я успел снискать благосклонность и доверие императрицы. Однако же, когда он получил мою депешу и узнал, что по стечении благоприятных обстоятельств и в уверенности получить удовлетворительный ответ я намереваюсь представить русскому правительству официальную ноту и предложить начать переговоры о торговом трактате, он счел мой поступок слишком поспешным и упрекал меня, что я так легко убедился в возможности такого неожиданного оборота дел. Ему казалось, что я был обольщен вниманием императрицы, которое относилось только к моему лицу, что я с излишней самоуверенностью приступил к делу и сделал предложение, может быть, во вред своему правительству.

С другой стороны, еще страннее показалось мне, что вице-канцлер граф Остерман, от которого императрица, верная своему слову, скрыла все, что слажено было во время нашей поездки, был чрезвычайно удивлен, когда я ему вручил свою ноту. Она была известна только императрице и Потемкину, и то лишь как выражение моего личного мнения. Не приготовленный к этому, Остерман сказал мне с важностью: «Я представлю ваше предложение на благоусмотрение императрице, потому что могу принять его только ad referendum. Признаюсь даже, что это меня несколько удивляет; я не был приготовлен **[378]** к этому предварительными условиями, какие обыкновенно предлагаются в таких случаях, и потому позвольте заметить вам: обдумали ли вы хорошенько ваше намерение? Уверены ли вы в том, что оно теперь будет своевременно?»

Я сказал на это, что предложение союза благовидного и выгодного для обоих дворов, по моему мнению, вероятно, принято будет императрицею с тем же чистосердечием, с каким оно сделано королем, и что сходство их обоюдных чувств и мнений дает мне возможность надеяться на успех.

Однако министры в продолжение целой недели не сообщили мне ничего по этому важному делу. Это меня несколько обеспокоило. Я знал, что императрица не медлила в своих соображениях, планах и приказаниях, но что иногда по неусердию ее чиновников предположения ее исполняются чрезвычайно тихо.

Я ездил в Петергоф, где давались пышные праздники; здесь, на маскараде, граф Безбородко сказал мне на ухо, что ему приказано немедленно вступить в переговоры со мною. В самом деле, только что возвратился я в столицу, как граф Остерман пригласил меня к себе и, поздравив меня с успехом, сказал: «Ее императорское величество приказала мне сказать вам, что она с большим удовольствием прочла вашу ноту, что, не дожидаясь возвращения графа Воронцова, отправленного для обзора таможен, она послала ее к нему, чтобы он мог скорее приступить к переговорам, и что она искренно желает успешного окончания этого дела». Затем я получил официальный ответ русских министров на мою ноту и изложение правил, которыми императрица постоянно руководствуется при заключении торговых договоров. Сверх того, мне объявили, что императрица назначит своих уполномоченных, когда я со своей стороны буду уполномочен к этому делу.

Я отослал все эти факты в Версаль с курьером, и они послужили к моему оправданию. Верженнь, получив приказания короля, похвалами своими вознаградил меня за несколько строгий выговор, полученный мною незадолго пред тем. Изъявляя ему свою благодарность, я предупреждал его, что хотя императрица выразила свои намерения и уверена в невыгодах привилегий и выгодах конкуренции в торговле, однако министры ее издавна свыклись с запретительной системой, и потому, вероятно, пройдет много времени в толках об уменьшении пошлин. Я предвидел, что особенно граф Воронцов будет настойчиво защищать необходимость запрещений и высоких пошлин и не убедится в том, что они производят застой промышленности и только поощряют контрабанду. К тому же я был уверен, что если нам сбавят пошлины с наших вин и предоставят право платить пошлины на русские деньги, то взамен этого с нас потребуют значительного уменьшения с пошлин на русские товары, ввозимые к нам.

Стеснительные меры поддерживались даже наперекор желаниям императрицы и Потемкина. Они, в видах пользы для южных областей империи, хотели сбавить одну четвертую со стоимости пошлин, платимых всеми на таможнях и в портах этих областей. Даже император австрийский, союзник Екатерины, принужден был сделать значительные уступки, когда заключил торговый договор с Россиею. Россия, нуждаясь в местах для сбыта своих товаров и отыскивая их, всегда наблюдала свои выгоды. Особенно добивалась она значительных преимуществ для своего торгового судоходства. Последнее было незначительно, потому что при 25 вооруженных военных кораблях она имела не более 50 купеческих судов. По этому поводу Гаррис, впоследствии лорд Мальмсбери, заметил, что русский купеческий флот — самый сильный в мире, потому что в нем на два торговых корабля приходится по одному военному для обороны.

Мои предположения оправдались: прошло более девятнадцати месяцев, прежде чем я мог заключить договор и кончить переговоры, к которым приступлено было так решительно и при самых благоприятных обстоятельствах. Я послал также Верженню мои замечания на ноту, заключавшую в себе основные правила, установленные и соблюдаемые Екатериною II при заключении торговых договоров. Эти записки сделались бы слишком обширны и сухи, если бы я вздумал поместить в них все предположения и возражения, которые я делал сам и получал в продолжение этих девятнадцати месяцев, или если бы захотел подробно рассказывать о различных препятствиях, замедлявших это дело и едва не прервавших его совершенно. Те из моих читателей, которые готовят себя к дипломатическому поприщу и которым могло бы быть полезно узнать все это дело, пусть ищут его в архивах. Прочим же я бы скоро надоел, если бы занял их толками о политических сплетнях. Они охотнее последуют за мною по пути более разнообразному и удобному, быстро переходя от одного предмета к другому: от петербургских праздников к горам Кавказа, от сераля татарских ханов и берегов Крыма в украинские степи, от рассказов о придворных интригах к описаниям сражений русских с турками, со шведами и поляками, предпринявшими последнюю попытку, чтобы возвратить свою независимость.

В это время императрица была несколько встревожена известием об уроне, который потерпело ее кавказское войско после нескольких битв с чеченцами и кабардинцами. Полковник Пьерри сжег несколько аулов, был окружен горцами и погиб вместе со своим отрядом.

Тогда же сделалось известным, что король прусский останавливает торговые сообщения города Данцига по каналу между Вислой и Нейссой учреждением таможен и фортов по этому пути, привлекает таким образом в свои владения всю торговлю этого вольного города и, сверх того, тревожит его жителей разными угрозами и враждебными поступками. Екатерина покровительствовала гражданам данцигским и обещала обеспечить их спокойствие. Она написала Фридриху письмо и просила его не расстраивать их обоюдного согласия и не нарушать безопасности, которою пользовались жители Данцига и поляки под их общим покровительством. Императрица поручила графу Безбородку сообщить мне это, и он сказал мне, что такая откровенность должна служить доказательством французскому королю, как искренно императрица желает действовать сообща с ним для утверждения мира в Европе. Откровенность государыни в этом случае убедила меня, что, опасаясь бесчисленных препятствий к исполнению своих замыслов, она начинала освобождаться от своих предубеждений против нас и была уже расположена содействовать нам в утверждении мира.

Знаки доверия государыни ко мне произвели на разных лиц различное действие. Министры сделались ко мне внимательнее. Граф Герц уже не скрывал своего нерасположения. Великий князь, всегда хорошо расположенный ко мне, даже до пристрастья, перестал со мною говорить. Наконец, граф Кобенцель старался теснее сблизиться со мною, но больше как придворный, нежели как посланник. Через Кобенцеля узнал я, что слаженный им торговый договор не приводится к окончанию за спором о первенстве в подписях акта, потому что император хотел подписаться первый, а императрица не хотела поставить имя свое после него. Мне сказали, что дело это должно было уладиться таким образом, что в Вене напишут акт на немецком языке, где первым подпишется Иосиф II, а в Петербурге — на русском, где подпись Екатерины будет выше, и потом соединят эти два акта.

Я был предуведомлен, что несколько французских габар пристанут к Кронштадту. Они прибыли, и снова начались толки о платеже пошлин. В другое время из-за этого вышли бы неудовольствия. Но так как на меня уже смотрели другими глазами, то и обещали кончить это дело полюбовно. Императрица прекрасно приняла наших морских офицеров: они веселились в столице и были приглашены на спектакль в Царское Село. Между тем как в Петербурге со мною обходились так дружелюбно, граф Шуазель писал мне из Константинополя, что поведение русского посланника вовсе несогласно со вниманием, мне оказываемым, и с дружелюбными уверениями, мне данными. Он извещал меня, что Булгаков старается возбудить в турках недоверчивость к нам, что он не допускает их согласиться на пропуск наших судов в Черное море и подстрекает русских агентов в Архипелаге к неприязненным действиям против нас. Поэтому, с одной стороны, казалось, что русское правительство сближалось с нами и покидало замыслы о завоеваниях, с другой стороны — в Константинополе и Греции подготовляло все для исполнения своих намерений на случай разрыва с Портою, что могло произойти вскоре. Однако ж Потемкин, казалось, исключительно занят был делами торговыми, а не военными. По указу императрицы он получил восемнадцать миллионов для скорейшего совершения предприятий, начатых им в южном крае. Иностранцам, которые пожелали бы селиться в тех местах, обещана была свобода от платежа податей на пять лет.

В это время прусский король официально сообщил Екатерине II, что союз курфюрстов окончательно составился с целью поддерживать и защищать германских князей от честолюбивых намерений Иосифа II. Это известие возбудило неудовольствие Екатерины и вместе с тем усилило ее желание соединиться с нами, чтобы нашим посредничеством предотвратить войну, по-видимому готовую вспыхнуть тогда в Германии. Я воспользовался этим положением дел и повторил свои жалобы о том, что русское правительство медлило исполнить свое обещание и удовлетворить марсельских купцов за убытки, понесенные ими в последнюю войну. Через несколько дней после того, 6 сентября 1785 года, граф Безбородко известил меня письмом, что это дело окончено и что при первом совещании вице-канцлер, по приказанию государыни, сообщит мне судебный приговор по этому делу, равно как и обо всех распоряжениях, какие будут сделаны для исполнения этого приговора.

Вознаграждение было скудное. Купцы наши получили только часть того, что требовали по праву. Но так как некоторые из их исков не были подкреплены достаточными доказательствами, то они могли считать за счастье, что возвратили хотя часть имущества, которое уже давно считали потерянным.

В это время Екатерина, более щедрая на подарки, чем министры ее в своих платежах, блистательным образом изъявила свою милость естествоиспытателю Палласу. Она была так добра и великодушна, что вошла в его домашние нужды. Паллас искал случая продать свое собрание произведений природы, чтобы составить приданое дочери своей. Императрица, узнав об этом, велела спросить его, во сколько он ценил свои вещи, и он назначил 15000 рублей. Когда императрице сообщили это, она написала ученому академику, что он весьма сведущ в естественных науках, но не умеет сделать приданого, и прибавила, что берет его собрание за 25 000 рублей, предоставляя ему право пользоваться им по смерть.

Конец этого года прошел без особенных происшествий, за исключением мира между императором и Голландиею, заключенного посредством нашего двора. Известие о подписании предварительных актов этого мира обрадовало императрицу и ее министров, и удовольствие их, казалось, было искреннее, чего я не ожидал прежде. Военные действия на Кавказе продолжались. Черкесы в одном жарком деле были разбиты и потеряли до 1000 человек. Австрийский посол сообщил мне свой торговый трактат, написанный, по взаимному соглашению, в двух экземплярах. Договором этим император и императрица уменьшили на 1/4 пошлины, взимаемые на таможнях обоих государств. С кронштадтских доков спущены были два корабля: один 100-пушечный, другой 74-пушечный. Я присутствовал при этом торжестве вместе с императрицею. Благоволение ее ко мне до тех пор было неизменно. Но скоро совершенно непредвиденный случай подал русскому правительству повод к неудовольствию и сомнениям насчет искренности наших дружелюбных уверений. Один русский чиновник, посланный в Персию с подарками шаху, был там ограблен и обижен. Тогдашний шах оказывал покровительство кавказским и дагестанским племенам во вред России. Другой чиновник, более счастливый, был милостиво принят шахом. С помощью нескольких англичан он успел перехватить переписку Феррьера-Совбефа (М. de M. Ferrieres Sauveboeuf), французского агента, будто бы посланного для того, чтобы вооружить персиян против русских. Потемкин в сердцах обратился ко мне с жалобой на этот поступок, не согласный с дружественными уверениями нашего двора. Мы жарко поспорили. Напрасно старался я доказать ему, что чиновники, не имеющие официальных дипломатических поручений, обязаны только сообщать сведения о положении страны, куда они посланы; что они не заслуживают никакого доверия, когда выходят из границ данного им поручения, с целью придать себе более веса и не имея на то никакого полномочия. Я сказал ему, что мы имеем более причин жаловаться на беспрестанные козни и неприязненное поведение не только тайных лазутчиков, но самих русских консулов в Архипелаге. «А, так вот что! Вы опять почувствовали слабость к туркам, — сказал Потемкин голосом более ласковым. — Согласитесь, что я не без основания величаю вас иногда *Сегюр-Еффендием*. Впрочем, ведь я сообщу вам перехваченные письма, и посмотрим, каковы-то будут объяснения вашего правительства!»

Несмотря на шуточную выходку, заключившую этот разговор, вслед за тем, однако, со мною стали обращаться холоднее, что несколько замедляло ход моих дел. Я отослал графу Верженню перехваченные и переданные мне бумаги и предупредил об этом Шуазеля. Оба они вследствие этого происшествия увидели необходимость умерять тревожное рвение наших тайных агентов и осторожнее вести свою переписку. Впрочем, опрометчивый поступок этого посланца, который не удовольствовался ролью простого наблюдателя, был скоро забыт. Персидский трон занял другой шах, более расположенный к России.

Наконец, я был уполномочен на заключение договора. Императрица, со своей стороны, назначила уполномоченными графов Остермана, Безбородка и Воронцова и г. Бакунина. Мы начали совещаться, но на первый раз еще далеко не установили главных условий договора. Главная остановка была за нашими винами: их не хотели уравнять относительно пошлин с винами испанскими и португальскими. Мы согласились только, какою монетою платить пошлины и как решать тяжбы, но никак не могли установить тариф.

Министры обещали мне по возможности скоро передать акт договора, ими составленный. Между тем я препроводил в Версаль ноту, содержащую мнения русских уполномоченных, присоединив к ним мои замечания. Императрица объявила мне о своем намерении ехать в Крым. С обычною своею любезностью она прибавила, что если эта поездка для меня будет любопытна, то она с удовольствием согласится иметь меня своим спутником. Через несколько дней после того она дала мне для библиотеки короля экземпляр книги Flora Rossica.

Императрица была очень довольна, когда узнала о заключении мира Иосифом II с Голландскими штатами, но неравнодушно встретила известие о союзном акте Франции с этой республикой. Союз этот возбудил неудовольствие императрицы, потому что лишал ее надежды поддержать влияние свое на Голландию. Казалось даже, что холодность ее к англичанам с этого времени несколько уменьшилась. Фитц-Герберт воспользовался этим случаем и предложил русским министрам переговорить о возобновлении торгового договора с Англиею, которому наступал срок в конце 1786 года.

Один новый указ перетревожил тогда всех петербургских купцов. Указом этим предписывалось всем торгующим лицам вписываться в гильдии и объявлять правительству свои капиталы. Эта мера многим не понравилась, и они жаловались императрице. Несколько французов имели по этому случаю неудовольствие с полициею, но я все уладил.

На восточном и южном крае империи дела принимали дурной оборот. И в Европе, и в Азии опасались войны. Ахалцихский паша напал на Грузию. Новый пророк Мансур возбуждал к войне жителей Кавказа; кубанские татары готовились вместе с лезгинами и турками сделать набег на Имеретию. Наконец, турецкий гарнизон Очакова производил грабежи в пределах России. Потемкин снова стал недоверчив и считал нас зачинщиками этих смут. В пылу негодования он приказал всем офицерам быть при своих полках, усилил войска на Кавказской линии и объявил, что через несколько месяцев сам примет начальство над армией и выступит за Кубань. Таковы были зловещие предзнаменования, которые в конце 1785 года указывали на скорый, почти неизбежный разрыв с Портою. {В этом месте текста Сегюр, по поводу волнений на Кавказе, делает очерк кавказских народов на основании одной записки, ему сообщенной. Пропускаем его, как поверхностный и лишний.}

Война русских на Кавказе, предпринятая для прекращения разбоев черкесов, до моего приезда в Петербург, по-видимому, не имела важности. Несколько кавказских князей поселились даже в России и служили в русской армии. Я встречал при дворе и принимал у себя кабардинских князей, прибывших для того, чтобы испросить у императрицы милостей своему народу. Они показывали мне свое оружие, которым владели с большим искусством. Я был свидетелем, как на всем скаку и в значительном расстоянии они сшибали стрелою шапку, повешенную на шесте. Я сохранил рисунки, где они изображены в своей военной одежде со стальной сеткой. Тогда как они в столице только и твердили, что о своей покорности, единоплеменники их нападали на русских. Борьба с ними со дня на день становилась затруднительнее, потому что силы их росли при содействии других народов, лезгин и даже турок, которые под предводительством ахалцихского паши вторгнулись в Имеретию.

В то же время на краю Азии возникли раздоры между русскими и китайцами, за то что последние завладели островом на Амуре и выстроили крепостцу. Китайский император написал Екатерине обидное письмо, и она была принуждена с большими затруднениями посылать туда войско и пушки. Я, может быть, был единственный европеец, которого могли занимать и тревожить эти смуты. Воронцов, президент Коммерц-коллегии, изъявил намерение ехать на китайскую границу, а отъезд его мог бы приостановить нашу торговую сделку, может быть, на целый год. Давно уже высокомерный владыка Китая оскорблял самолюбие императрицы, привыкшей внушать уважение. В начале ее царствования многочисленное калмыцкое племя, населявшее северо-восточные прибрежные равнины Каспийского моря, вздумало освободиться от тяжелых для них налогов и законов, установленных русским правительством. Вдруг в один день и в тот же час сто пятьдесят калмыцких семейств складывают свои шатры, навьючивают их на кибитки, седлают своих коней, собирают стада и уходят на восток. После двухлетнего перехода они достигли границы Китая и отправили к китайскому императору послание с просьбою дать им пристанище. Это неожиданное посещение двух или трех сот пришельцев нисколько не встревожило, а напротив, польстило китайскому императору. Он дал им земли и посреди их поселения воздвиг пирамиду с надписью, провозглашавшей его владыкою монархов всего света. В ней сказано было: «Иные завоевывают золотом и мечом, истощают все силы свои, чтобы с большими издержками и затруднениями овладеть несколькими городами, несколькими местечками. Нас же боятся и уважают, **[386]** наши законы мудры, подданные счастливы, и мы видим, что целые народы, из самых дальних стран, приходят и покоряются нашей власти». Хотя императрица порою и смеялась над этими выходками азиатского хвастовства, однако самая насмешка эта обнаруживала ее скрытую досаду.

Впрочем, среди этих политических хлопот русские министры по приказанию государыни продолжали вести переговоры со мною и Фитц-Гербертом. Хотя возобновление прежнего трактата легче составления нового, однако дело Фитц-Герберта подвигалось так же медленно, как мое. С одной стороны, царские уполномоченные были ужасно осторожны, даже до мелочности, с другой же — обвиняли нас в упрямстве и излишней щекотливости. Они привыкли, чтобы все делалось, как они хотели, и потому наша твердость им не нравилась. Когда я явился на первое совещание, то, к удивлению, заметил, что, наперекор правилу учтивости, требующему уважения к иноземцам, они уселись за длинным столом на главном конце и по бокам, а мне оставили место на другом конце. Чтобы избегнуть неприятностей, я не подал вида, что заметил это. Но на следующий раз я поспешил войти в зал вместе с другими и сел на диван, стоявший у главного конца стола. Кажется, это всех удивило, но они промолчали. Зато во время переговоров они выказали свою досаду: спорили о каждой статье и передали мне составленный ими акт, где пошлины на наши вина не были убавлены ни на копейку. Впрочем, урок, который я им дал, удался совершенно, потому что при всех последовавших затем совещаниях мы садились за круглый стол и потому все места были равны.

Нрав моих противников особенно затруднял меня. Граф Остерман, человек благонамеренный, но простоватый, никак не мог забыть успеха, с которым Верженнь действовал против него, когда они были вместе послами в Швеции. С тех пор он был не расположен к нам. Граф Воронцов, человек способный, но придирчивый и упрямый, держал себя строго и восставал против роскоши. Он, кажется, хотел бы, чтобы русские пили только мед и одевались бы в платье домашнего изделья. Потемкин его ненавидел; другие министры его боялись. Императрица не слишком любила его, но уважала и почти безусловно предоставила на его волю торговые дела. Так как его брат был весьма любим в Англии и пользовался там большим весом, то он охотнее покровительствовал англичанам, чем нам. Что касается до Бакунина, то он был совершенно предан англичанам. Министры не слишком-то уважали его. Он когда-то очернил себя таким неблагородным поступком в отношении к графу Панину, что великий князь не хотел принимать его к себе. Всю свою надежду полагал я на одного только графа Безбородка. Умный, ловкий и уступчивый, но отчасти слабый, он несколько помогал мне в моих делах с тех пор, как ему показалось, что императрица желает их успеха. Но он не мог устоять против проделок Бакунина и решительности Воронцова, желавшего разными запрещениями и пошлинами уменьшить ввоз в Россию всевозможных иностранных произведений.

В борьбе с такими препятствиями Потемкин служил мне твердою опорою. Враг мелочных расчетов, с широким взглядом на торговлю, он твердо защищал меня против Воронцова, который мешал ему и колол глаза своим весом при дворе. Но чудак-князь, порою столь гениально-проницательный, часто оказывался непостоянным, как дитя. Обширные предприятия подстрекали его деятельность; мелочные заботы его утомляли. Никто не соображал с такою быстротою какой-либо план, не исполнял его так медленно и так легко не забывал. Вдруг заводил он фабрики и так же скоро оставлял их. Он всегда был готов продать то, что купил, и разрушить то, что создал. Случалось, что он оставлял сочинение, касающееся политики или торговли, для какой-нибудь музыкальной пьесы или стихов и часто из легкомыслия упускал из виду дела, требующие постоянства и труда. Вот почему деятельность его соперников и собственная лень иногда мешали его влиянию на государыню — умную, проницательную и умевшую справедливо ценить как его достоинства, так и недостатки. Чтобы лучше представить живость его ума, твердость памяти и легкомыслие, я расскажу один его поступок, который в то время меня очень рассердил и чуть было не поссорил с ним. Однажды я попросил его назначить мне день, чтобы переговорить с ним об одном торговом заведении, основанном по его желанию г. Антуаном (Anthoine), марсельским уроженцем, ныне бароном Сен-Жозефом, близ Херсона. Князь принял меня и попросил меня прочесть толстую, полную расчетов и цифр тетрадь, представленную мне этим негоциантом, известным по своему кредиту, богатству, сведениям и честности; в труде своем он жаловался на местное начальство, всячески мешавшее ему, и предлагал меры для устранения препятствий, замедлявших успех его предприятий. Но каково было мое удивление, когда я заметил, что, пока я читал эту записку, без сомнения достойную внимания, к князю входили один за другим священник, портной, секретарь, модистка и что всем им он давал приказания. Когда я хотел остановиться, он настоятельно просил меня продолжать. Эта странная невежливость меня бесила, и я спешил дочитать скорее. Когда я кончил и он хотел взять у меня тетрадь, я удержал ее и сказал ему довольно сухо, что не привык к такому невниманию и беспечности, когда дело идет о важном предмете, и что в подобных случаях вперед буду относиться к одному лишь графу Воронцову. Не прошло трех недель, как я получил от г. Антуана письмо, где он меня благодарил за скорое исполнение его поручения. Он писал мне, что Потемкин ответил ему обстоятельно на все пункты его донесения и сделал все нужные распоряжения, чтобы облегчить его и упрочить успех его предприятия. Я тотчас же поспешил к князю. Только что вошел я, как он встретил меня с распростертыми объятиями и сказал: «Ну что, *батюшка*, разве я вас не выслушал, разве я вас не понял? Поверите ли вы наконец, что я могу вдруг делать несколько дел, и перестанете ли дуться на меня?» Я поцеловал и благодарил его, крайне удивляясь живости его способностей.

Чем благосклоннее князь становился ко мне, тем более я опасался его отсутствия. Он все еще собирался принять начальство над Кавказскою армиею. К счастию, подоспело известие, изменившее его намерение. Фанатик Мансур, лжепророк, во имя Магомета вооружил кабардинцев и другие черкесские племена, и они толпами врывались в русские области с изуверством, которое усиливало их природную отвагу. Они ждали себе верной победы. Их предводитель поклялся им аллахом, что артиллерия христиан окажется безуспешна против них. Впрочем, при первой же стычке пушки, не слишком-то уважающие пророков, не оправдали предсказания и истребили множество мусульман. Тогда Мансур вздумал перед каждым отрядом выставлять подвижные брустверы, утвержденные на дрогах с четырьмя колесами и сплоченные из досок, между которыми был фашинник. Горцы, в восторге от этого необыкновенного изобретения и уверенные, что за этою слабою защитою они пройдут невредимы, подвигаются вперед. Но скоро русская артиллерия разгромила эти преграды, и черкесские колонны окружены, разбиты, уничтожены совершенно. Знамя пророка с надписями из Алкорана было захвачено, и пророк погиб или бежал. Я поспешил сообщить эту новость графу Шуазелю, которого турки обманывали тогда ложными известиями о мнимых победах, будто бы одержанных ими на Кавказе и в Грузии. Тогда же Верженнь доставил мне средства рассеять сомнения Потемкина насчет бумаг, перехваченных у нашего лазутчика в Персии. Он переступил данные ему приказания и получил за это выговор. Мне нетрудно было доказать, что наши жалобы на поведение русских консулов в Архипелаге гораздо основательнее. Таким образом, рассеялись сомнения, которые этот случай возбудил в уме императрицы. Потемкин, со своей стороны, также старался оправдать поступки русских консулов. Он доказывал мне, что нужно готовиться к войне, что ее нельзя избежать, если турки не перестанут снабжать оружием лезгин и другие кавказские народы.

Екатерина II была ко мне по-прежнему благосклонна. Раз утром рано входит ко мне обер-шталмейстер Нарышкин с огромной пачкой писем, журналов, брошюр и памфлетов в руках и говорит мне: «Ее величество поручила мне передать вам эту посылку, присланную вам из Парижа на ее имя. Она велела вам сказать, что если ей будут посылать такие пакеты, то она прикажет мне купить маленького лошака для перевозки ваших вещей». Я чрезвычайно удивился, поблагодарил его, а он без дальних объяснений вышел от меня громко смеясь. Я поспешно распечатал письма и в одном из них, от моей жены, нашел объяснение всего этого.

«Тебе, вероятно, покажется странным, — писала она, — что я так легкомысленна и осмеливаюсь адресовать на имя императрицы огромный пакет, который я тебе посылаю. Но виною этому барон Гримм: это сделано по его желанию. Он знает, как благосклонна к тебе государыня, и уверил меня, что она меня не осудит». Несмотря на это объяснение, в тот же вечер на эрмитажном спектакле я подошел к императрице и с заметным смущением начал было извиняться, но она сказала мне улыбаясь: «Напишите от меня вашей супруге, что она может вперед пересылать вам через мои руки все, что хочет. По крайней мере, вы тогда можете быть уверены, что ваших писем не станут распечатывать». Императрица говорила правду. В ее империи, как и везде, чиновники раскрывали всякие письма и депеши. Это — обыкновение не только безнравственное, но и опасное по злоупотреблениям, к которым оно может подать повод. С другой стороны, оно довольно бесполезно, потому что все это знают и, следственно, пишут осторожно, а иные даже пользуются этим, чтобы понравиться разными обманчивыми похвалами. Но так как императрица вовсе, не желала, чтобы министры останавливали жалобы, ей приносимые, и заглушали голос правды, то она наказала бы со всею строгостию министра, который вздумал бы открыть письмо или какую-либо бумагу, посланную на ее имя.

В этом году императрица истребила старинный обычай, по которому просьбы на высочайшее имя писались так: *бьет челом раб твой такой-то*. Новым указом запрещено было употреблять это выражение, и велено слово *раб* заменить словом *подданный*.

Екатерина никогда не действовала так произвольно, как ее министры. Особенно Потемкин миловал и наказывал помимо законов, даже таких, которых строгое исполнение необходимо для общественной пользы. Некто Жюмильяк, представленный Потемкину мною и принятый в петербургском обществе, так понравился князю, что когда ему вздумалось проехаться в Константинополь и обратно, то он получил от князя разрешение *миновать карантин*. Из этого видно, что с французами обходились ласково, хотя и завидовали их успехам на поприщах военном и политическом и усилению их влияния. Петербургский кабинет был так недоволен известием, что Швеция приступила к нашему союзу с Голландией, что запретил шведам вывозить из России хлеб и лошадей. По той же причине русские министры выразили свое неудовольствие испанскому послу, но он с достоинством защищал наш мирный союз. На самом деле союз этот возбуждал в русском правительстве более зависти, нежели опасения.

В этом же году императрица издала три новых указа: первые два обрадовали купцов и дворян, третий огорчил украинское и малороссийское духовенство, потому что ставил его в одинаковое положение с прочим духовенством империи и тем лишил его 200 000 душ крестьян, перешедших в казенное ведомство. По части торговли была учреждена комиссия из пяти русских и пяти иностранных негоциантов для рассмотрения и удовлетворения жалоб, представленных купцами правительству. Еще один указ касался дворян. Назначен был выпуск 33 миллионов банковых билетов, из коих 22 миллиона разрешено было раздать заимообразно дворянству за восемь процентов и на двадцатилетний срок, до погашения долга; к этим 22 миллионам присоединены были еще четыре миллиона, составлявшие фонд прежнего заемного банка. Остальные 11 миллионов назначены были для займа купцам наравне с дворянами: первым — под залог домов, вторым — под залог земель. Банку разрешено было чеканить в свою пользу медную монету и менять ее за границею на золото и серебро. Он должен был иметь во всякое время достаточное количество этой монеты, чтобы мена делалась в пользу России и чтобы предупредить лаж <убыток>. Всех банковых билетов указано выпустить не более как на один миллион. Князь Вяземский, говорят, горячо восставал против этой меры и написал по этому предмету целое рассуждение, но оно не понравилось императрице. Меня уверяли, будто в этой записке он старался доказать, что чрезмерное умножение ассигнаций подорвет кредит. В некоторых губерниях ассигнации-то уже упали или совсем вышли из обращения. Князь представлял, что дворянству, уже и без того обедневшему, представлялся новый повод к разорению. Наконец, он утверждал, что, распределив уплату на двадцатилетний срок, правительство потворствует ростовщикам, потому что они скупят эти билеты и пустят их впоследствии в оборот в свою пользу. Но представления князя не были уважены, потому что все члены совета ее величества ожидали себе выгод от успеха этого установления, так как с помощью его они могли уплатить свои долги. Вообще порицали этот указ все иностранные негоцианты. Они считали его необдуманным, дурно составленным и едва ли удобным к исполнению.

События, предвещавшие войну, скоро отвлекли государыню от ее законодательных трудов. Шуазель полагал, что война неизбежна. Английское правительство, имея в виду разрушить наш торговый союз с Россиею, подстрекало турок помогать татарам, лезгинам и ахалцихскому паше в их враждебных действиях против России. Подготовляя разрыв, Англия надеялась уменьшить наше влияние в Петербурге и совершенно уничтожить наше значение в Константинополе.

Все эти проделки снова пробуждали в императрице прежнюю недоверчивость к нам, и со мною стали реже совещаться. Но в личных отношениях ко мне императрица была по-прежнему любезна. Она пригласила меня отобедать с нею в новом дворце, построенном князем Потемкиным. В этом дворце была такая длинная галерея с колоннадою, что стол на пятьдесят приборов, накрытый в одном конце, был едва заметен для входящих с другого конца. За нею находился зимний сад, такой обширный, что посредине построена была беседка, где могли свободно поместиться пятьдесят человек, а между тем она вовсе не казалась слишком огромною по величине сада. Здесь князь дал нам самый необыкновенный концерт. Это был хор роговой музыки, в котором каждый трубач мог брать только одну ноту. Несмотря на это, они легко и отчетливо исполняли самые трудные пьесы.

Вице-канцлер также дал большой ужин для императрицы. На ту пору приехал в Петербург граф Кюстин, и мне хотелось, чтобы его тоже пригласили. Но так как он не был еще представлен ко двору, то граф Остерман не смел просить его к себе. Я сообщил свое желание государыне, и граф тотчас же был приглашен.

С пышностью отпраздновав в Петергофе петров день, императрица, по обыкновению, воспользовалась этим торжественным случаем, чтобы излить на многих свои милости. Графу Безбородку подарила она 4000 душ, графу Воронцову — 50 000 рублей. Шесть человек были пожалованы сенаторами, несколько сановников назначены губернаторами, и роздано было много орденов.

К удивлению всего двора, Ермолов начал тогда интриговать против Потемкина и вредить ему. Крымский хан Сагим-Гирей, оставляя свою власть, получил от императрицы обещание, что его вознаградят и дадут ежегодное жалованье. Не знаю почему, уплата этой пенсии была отложена. Хан, подозревая Потемкина в утайке этих денег, написал жалобу и, чтобы она вернее дошла к государыне, обратился к любимцу ее Ермолову, который воспользовался этим случаем, чтобы возбудить государыню против ее министра. Он думал, что успеет свергнуть его. Все недовольные высокомерным князем присоединились к Ермолову. Скоро императрицу обступили с жалобами на дурное правление Потемкина и даже обвиняли его в краже. Императрицу это чрезвычайно встревожило. Гордый и смелый Потемкин, вместо того чтобы истолковать свое поведение и оправдаться, резко отвергал обвинения, отвечал холодно и даже отмалчивался. Наконец, он не только сделался невнимательным к своей повелительнице, но даже выехал из Царского в Петербург, где проводил дни у Нарышкина и, казалось, только и думал, как бы веселиться и рассеяться. Негодование государыни было очень заметно. Казалось, Ермолов все более успевал снискать ее доверие. Двор, удивленный этой переменой, как всегда, преклонился пред восходящим светилом. Родные и друзья князя уже отчаивались и говорили, что он губит себя своею неуместною гордостью. Падение его, казалось, было неизбежно; все стали от него удаляться, даже иностранные министры. Фитц-Герберт вел себя всех благороднее, хотя, собственно, и он рад был падению министра, который в то время более держал сторону французов, нежели англичан. Что касается до меня, то я нарочно стал чаще навещать его и оказывать ему свое внимание. Мы видались почти ежедневно, и я откровенно сказал ему, что он поступает неосторожно и во вред себе, раздражая императрицу и оскорбляя ее гордость.

— Как! И вы тоже хотите, — говорил Потемкин, — чтобы я склонился на постыдную уступку и стерпел обидную несправедливость после всех моих заслуг? Говорят, что я себе врежу; я это знаю, но это ложно. Будьте покойны, не мальчишке свергнуть меня: не знаю, кто бы посмел это сделать.

— Берегитесь, — сказал я, — прежде вас и в других странах многие знаменитые любимцы царей говорили тоже: «Кто смеет?» Однако после раскаивались.

— Мне приятна ваша приязнь, — отвечал мне князь. — Но я слишком презираю врагов своих, чтобы их бояться. Лучше поговоримте о деле. Ну, что ваш торговый трактат?

— Подвигается очень тихо, — возразил я, — полномочные государыни настойчиво отказывают мне сбавить пошлины на вина.

— Так, стало быть, — сказал Потемкин, — это главная точка преткновения? Ну, так потерпите только, это затруднение уладится.

Мы расстались, и меня, признаюсь, удивило его спокойствие и уверенность. Мне казалось, что он себя обманывает. В самом деле гроза, по-видимому, увеличивалась. Ермолов принял участие в управлении и занял место в банке вместе с графами Шуваловым, Безбородком, Воронцовым и Завадовским. Наконец повестили об отъезде Потемкина в Нарву. Родственники потеряли всякую надежду; враги запели победную песнь; опытные политики занялись своими расчетами; придворные переменяли свои роли.

Я терял главнейшую свою опору, и, зная, что Ермолов скорее мне повредит, чем поможет, потому что считал меня другом князя, я уже опасался за успех моих дел, которые и без того подвигались туго. Однако министры пригласили меня на совещание, после коротких переговоров и нескольких неважных возражений согласились на уменьшение пошлин с наших вин высшего разбора и даже подали мне надежду на более значительные уступки. Обещания князя исполнились, и я не знал, как сообразить это с его падением, в котором все были уверены. Через несколько дней все объяснилось: от курьера из Царского Села узнал я, что князь возвратился победителем, что он приглашает меня на обед, что он в большей милости, чем когда-либо, и что Ермолов получил 130 000 рублей, 4000 душ, пятилетний отпуск и позволение ехать за границу. На подвижной придворной сцене зрелища переменяются как будто по мановению волшебного жезла. Екатерина II назначила нового флигель-адъютанта Мамонова, человека отличного по уму и по наружности.

Когда я явился к Потемкину, он поцеловал меня и сказал: «Ну что, не правду ли я говорил, *батюшка*? Что, уронил меня мальчишка? Сгубила меня моя смелость? А ваши полномочные все так же упрямы, как вы ожидали? По крайней мере, на этот раз, господин дипломат, согласитесь, что в политике мои предположения вернее ваших».

Новый адъютант государыни, покровительствуемый Потемкиным, действовал с ним заодно. Он скоро показал мне свое желание сблизиться со мною. Императрица дозволила ему принять приглашение, которое я ему сделал. Чтобы показать нам свое особенное внимание, она в то время, как мы выходили из-за стола, тихонько проехала в своей карете мимо моих окон и милостиво нам поклонилась.

В это время я получил письмо от принца Нассау-Зигена из Варшавы. Он просил меня выхлопотать ему дозволение провезти произведения своих поместий под русским флагом через Черное море в Архипелаг и Францию. Я передал его просьбу князю Потемкину, и он объявил мне, что этого исполнить невозможно, что русского флага не дают иностранцам, разве только если они вступят в русское подданство и приобретут землю в России. Потемкин прибавил, что императрица не расположена к принцу, и не без причины, потому что незадолго пред тем он ездил в Константинополь и был весьма расположен воевать с турками против русских. Когда, несмотря на этот ответ, я продолжал упрашивать князя, то моя настойчивость его удивила, и он спросил, отчего я так ревностно защищаю человека, не связанного со мною родством. «Нассау по-настоящему даже не соотечественник вам, — говорил князь. — По происхождению он не француз, женился в Польше, и там теперь его отечество». Тогда я рассказал ему о моем знакомстве с принцем, о нашей ссоре, страшной дуэли и о том, как мы после того поклялись во взаимной дружбе. Потемкин ничего не отвечал на это, но через несколько дней он объявил мне, что императрица в доказательство своего внимания ко мне поручает мне написать принцу Нассау, что она жалует ему землю в Крыму и позволяет выставить русский флаг на его судах. Можно представить себе изумление и радость Нассау, когда он получил это неожиданное известие. По моему совету он написал Потемкину и просил его довершить милость, ему оказанную, и испросить ему дозволение лично благодарить государыню.

Императрица уже публично объявила о своем намерении ехать в Крым, и я должен был сопровождать ее. В Киеве Нассау присоединился к нам. Князь де Линь, который тоже должен был ехать с императрицею, прибыл в Петербург. Во всех европейских дворах его принимали и ласкали. Его любили за добродушие и обходительность, за оригинальный ум и живое воображение; он мог оживить самое бездушное общество. Он отличался рыцарскою храбростью на войне, обладал обширными сведениями в военных науках, истории и литературе, был внимателен, ласков со стариками, перещеголял молодежь своею живостью, участвовал во всех забавах своего времени, во всех войнах, во всех торжествах. В пятьдесят лет он сохранил свою мужественную красоту. Умом своим он был еще двадцатилетний юноша. Вежливый с равными, ласковый с низшими, развязный с высшими и монархами, он умел обойтись со всяким, ни перед кем не терялся, писал стихи всем дамам. Обожаемый своею семьею, он детям своим был скорее товарищ, чем отец. По-видимому, всегда откровенный, он, однако, свято хранил поверенную ему тайну. Другой старик с таким беспечным нравом показался бы смешным, но де Линь был так разнообразен, любезен, остроумен и притом так добродушен, что нравился даже своими недостатками.

Он был в большой милости у императрицы. Едва он приехал, как она объявила ему, что жалует его имением в Крыму, на берегу Черного моря, на том самом месте, где, по преданию, находился храм, в котором царевна Ифигения была жрицею. Я уже несколько лет был дружен с де Линем и потому более других наслаждался приятною мыслью, что буду иметь в пути такого милого товарища.

Чем более приближалось время отъезда, тем более я должен был стараться покончить свои дела, потому что с отъездом нашим все могло остановиться. Политический барометр всегда почти стоит на переменном, и при моем тогдашнем положении долгая отсрочка могла бы повести к совершенной неудаче. Торжественное шествие Екатерины на юг, сбор многочисленных войск к берегам Днепра до самого Черного моря — все это легко могло встревожить турок, пробудить в них опасения и подать повод к несогласиям, которые мы всячески старались предупредить. Поэтому я удвоил свою деятельность; Верженнь помог мне очень удачно, Булгаков получил приказание откровенно объясниться с Шуазелем, и таким образом, хотя на время, прекратился спор о Грузии. Диван обещал не оказывать впредь содействия лезгинам и черкесам. Ахалцихскому паше запрещено было поощрять разбои кубанских татар и делать набеги на владения грузинского царя Ираклия, данника императрицы. Повеления эти в самом деле были отданы, но худо исполнялись; паша ахалцихский, некогда христианин, восставал уже не раз и усмирился с условием, чтобы его пашалык сделали наследственным в его роде. Поэтому на повиновение его нельзя было надеяться, и сменить его было нелегко.

Спор о взысканиях, которые следовали с французских судов, прибывших в петербургский порт, все еще продолжался по упрямству графа Воронцова. Г-н Галисоньер, командир нашей эскадры, вел себя в этом деле с отличным благоразумием и твердостью, так что заслужил одобрение человека, предубежденного против нас, — англичанина Грейга, адмирала русского флота. Наконец мы согласились на сделку, по которой положена была легкая пошлина на товары, привезенные нашими судами. Что же касается до нашего фрегата, то решено было, что он будет принят в русских портах на одинаковых правах с английским фрегатом, привезшим в Россию лорда Каткарта, английского посла при русском дворе. Несмотря на этот уговор, кронштадтские таможенные чиновники затеяли спор с нашими моряками. Даль, заведовавший таможенными делами, человек грубый, хотел непременно освидетельствовать наши габары. Узнав об этом, я решился пожаловаться прямо государыне, помимо медлительного и пристрастного графа Воронцова. Она тотчас же объявила мне, что чрезвычайно недовольна поведением Даля и немедленно прикажет ему удовлетворить всем нашим требованиям. Таким образом, все препятствия были устранены, и эскадра наша отправилась обратно во Францию. Эта скорая и удачная развязка послужила мне доказательством того значения, которым я пользовался, и немало способствовала к облегчению сношений моих с министрами.

Чрез несколько дней после того императрица позволила мне отобедать с нею у Потемкина и потом поехать с нею же на Охтинский пороховой завод и в Пеллу — новый загородный дворец, воздвигаемый для нее. В то же время я и Кобенцель получили приказания в наших сношениях действовать со взаимною откровенностью. Император хотел вместе с нами способствовать сохранению мира между Россией и Турцией. Тогда министры английский, прусский и португальский сделались нашими постоянными и деятельными противниками. Дания и Швеция также выказывали свою недоверчивость, которой, впрочем, было основание по некоторым свежим еще воспоминаниям и по честолюбию обоих императорских дворов. Наше сближение с этими дворами, хотя и с миролюбивою целию, внушало Швеции и Дании опасения. Они помнили, что русское правительство уверяло в дружбе прусского короля и между тем вступало в союз с Австриею, что оно то же самое сделало с польским королем, когда обещало ему защиту его владений, тогда как готовилось к их разделу, и, наконец, с султаном, с которым утвердило торговый договор, когда овладело Крымом. Эти воспоминания и меня несколько тревожили. Но Шуазель прислал мне утешительные вести. С другой стороны, я узнал через Кобенцеля, что Иосиф II раскаивался, что способствовал Екатерине приобрести Крым, не получив взамен того помощи в спорах своих с Голландиею и Бавариею, и потому решился вперед не поддерживать более императрицу в ее стремлении к завоеваниям.

Принц де Линь объявил императрице, что Иосиф II встретит ее на берегах Днепра, а граф Комажерский, посланник польского короля, просил назначить Киев местом свидания с Станиславом. Императрица выразила свое согласие. Между тем прибыл курьер из Константинополя. Тотчас же потребовали во дворец английского посланника; он более часа пробыл там с императрицею и Потемкиным, и это всполошило всех дипломатов. Я вместе с другими терялся в догадках. Один бог ведает, сколько шифрованных депеш разошлось по европейским кабинетам и сколько родилось различных предположений и догадок! К счастью, в тот же вечер я видел государыню в эрмитаже и узнал от нее, что единственным предметом этого совещания было рассмотрение любопытных рисунков, привезенных кавалером Ворслеем из Египта.

Время приближалось к отъезду. Наши совещания замедлились; наконец меня позвали на конференцию. Но на этот раз мне отказывали в уменьшении тарифа. Мне возражали, что дешевизна наших вин сделает подрыв испанцам и португальцам, которые привозят в Россию много денег, а вывозят их мало, между тем как по заключении нашего трактата множество русских денег уйдет на предметы роскоши, доставляемые французами в большом количестве. Наконец, министры оправдывали свою медлительность тем, что они завалены делами. Они уверяли меня, что дело о торговых трактатах с Англиею, Неаполем и Португалиею подвигается еще медленнее. Воронцов заключил конференцию обещанием сообщить мне свое окончательное мнение, но при этом объявил, что пошлина будет сбавлена на одно только наше шампанское. Я всего мог опасаться в стране, где всё начинают и ничего не оканчивают. К тому же Воронцов намеревался ехать в Финляндию, и мне казалось, что министры, не расположенные ко мне, нарочно тянут дело, чтобы оно осталось неоконченным до нашего отъезда в Крым. Я обратился с своими жалобами к Потемкину. Он также находил эти проволочки несправедливыми, но не мог мне помочь, потому что должен был ехать в Киев. Тогда, не видя других средств, я решился избрать себе нового посредника в лице Мамонова. Он был хорош со мною и всегда уверял, что желает мне счастливого окончания моих дел. В письме к нему, описывая все свои неприятности, я, между прочим, выразился так: «Между тем как императрица желает успешного окончания торгового акта между Россиею и Франциею, ее приказания худо исполняются, и она этого не знает. Из потворства ли Англии, из нерасположения ли к Франции, по другим ли каким причинам, — но только министры ее делают мне беспрестанные затруднения. Они как будто хотят только протянуть это дело до отъезда нашего в Крым. Если до тех пор они его не покончат, то нельзя уже будет выполнить повеления государыни. Таким образом, не удастся сделка, по последствиям своим полезная для обеих сторон». Мне нетрудно было догадаться, что какая-то тайная сила подействовала на расположение уполномоченных. Воронцов стал уступчивее, Безбородко деятельнее, Остерман любезнее; один только Морков, заместивший между тем Бакунина, еще упрямился. Проект Вержения разобрали по статьям и, видимо, желали согласиться. Все почти перемены, какие желал наш двор, были сделаны. Оставалось только решить несколько незначительных пунктов относительно вознаграждений, требуемых Россиею за обещанное мне уменьшение пошлин с наших вин.

Я послал окончательную редакцию проекта Верженню и советовал ему не настаивать на мелочных требованиях, а иметь в виду огромные выгоды, какие предоставляются нам этим актом. В самом деле: нам дозволяли платить пошлины на русские деньги. Таким образом, мы уравнены были в правах с англичанами и другими народами, которые до этого времени платили 12% менее нас. Договор этот утверждал за нами все преимущества, привилегии и права, какие имели другие народы, пользовавшиеся в России особенными выгодами. Пошлины на наши вина были уменьшены на четвертую долю в южных областях и на пятую — в северном крае империи. Мыло наше было допущено к привозу наравне с венецианским и турецким. Вообще пошлины на все наши товары были сбавлены на одну четверть. Исключению из этого подлежали только соль и водка. Но это исключение относилось и к прочим народам, потому что соль составляла значительную отрасль торговли в Крыму, а хлебное вино, выкуриваемое в России и отданное на откуп, приносило казне до 50 миллионов дохода. Я писал министру, что мы очень можем довольствоваться уступками, сделанными относительно наших вин, потому что потребление их, несмотря на высокие цены, увеличивается, тогда как запрос на португальские и испанские вина уменьшается. К тому же нужно взять в соображение, что ноябрь месяц близок, что императрица едет в первых числах января и что если мне вскоре не сообщат окончательного решения, то противники наши употребят в свою пользу упущенное время. Тогда дело наше прервется продолжительным путешествием, а может быть, и совсем расстроится, потому что хотя и Шуазелю, и Булгакову удалось заключить выгодные условия с Портою, политический горизонт, однако, довольно сумрачен. «Меня уверяют, — писал я, — что желают мира. Однако на юге собирают огромную армию, будто бы для того, чтобы придать более пышности торжественной поездке императрицы. Министры Пруссии и Швеции утверждают, что хотя императрица отложила намерение завоевать Турцию, однако она предполагает положить основание новой империи; что, будучи обладательницей некоторых частей древней Греческой империи, именно Тавриды, Босфора Киммерийского и Иверии, она намеревается короновать в Херсоне внука своего Константина, в надежде возбудить этим в греках желание свергнуть турецкое иго. Вследствие этого громадная Оттоманская империя рано или поздно должна рушиться среди ужасов продолжительной междоусобной войны». План этот казался мне несбыточным, но он мог встревожить турок, и этого было достаточно, чтобы повести к раздору. Мы в таком случае возбудили бы против себя Россию и лишились бы надежды когда-либо окончить торговый договор.

Дела Фитц-Герберта шли успешно; но в то самое время, как он уже полагал заключить договор, встретилось неожиданное и непреодолимое препятствие. Надобно знать, что русские уполномоченные предложили мне поместить в договорную грамоту статью о том, что король наш признает начало вооруженного нейтралитета. Я на это согласился, но только с условием, чтобы императрица торжественно обещала не заключать и не возобновлять никакого договора с другими державами, не истребовав от них такого же признания. Когда объявили об этом Фитц-Герберту, он, разумеется, отклонил эти требования и настаивал на уничтожении этой статьи, утверждая, что его правительство никогда не согласится на такое предложение. Уполномоченные отвечали, что невозможно исполнить его требования, потому что императрица по этому предмету заключила с некоторыми значительными державами обязательства, которых нельзя нарушить. После этого совещания прекратились, и договор не состоялся. Согласились только прежний договор, которому выходил срок, оставить в силе еще на три месяца, для того чтобы английское правительство в течение этого времени могло изъявить свое решительное мнение по этому предмету.

Императрица была тогда огорчена семейными неприятностями. Она хотела взять с собою на юг внуков своих, Александра и Константина. Великий князь и его супруга не должны были участвовать в путешествии и потому горячо жаловались на эту разлуку. Но молодые князья заболели корью, и императрица должна была оставить их при родителях.

В то же время при дворе произошла совершенно неожиданно довольно неприятная сцена. Однажды, после спектакля в эрмитаже, принцесса Виртембергская, невестка великой княгини, вместо того чтобы, по обыкновению, последовать за нею, прошла в комнаты императрицы, бросилась к ее ногам и стала умолять ее о защите от мужа, который, по ее уверениям, обращался с нею самым жестоким образом. Она объявила, что не может более сносить обиды и насилия, которые могли усилитьсяечер после этой сцены государыня написала строгое письмо принцу, велела ему оставить службу и выехать из России в Германию. Принцесса осталась в эрмитаже, где ей отвели покои. Великий князь и великая княгиня были очень огорчены, потому что принцесса, сестра их, оказала в этом случае свое нерасположение к ним.

Декабрь прошел, и я не получал никаких известий от своего правительства. Англичане и приверженцы их, желавшие, чтобы договор не состоялся, торжествовали. Наконец 6 января (нового стиля) прибыл курьер от Верження. Я тотчас же написал статьи, в которых нужно было, по мнению министра, сделать изменения и дополнения. 7-го просил я совещания, и оно состоялось 8-го. Я прочел уполномоченным ноту, написанную с тою целью, чтобы доказать им справедливость и умеренность тех новых требований, которые мне приказано было предложить им. Мне сделали несколько незначительных, кратких возражений. Заметно было, что дипломаты получили секретное предписание скорее покончить дело. Однако они настоятельно требовали, чтобы пошлина на русское железо была сбавлена в сравнении с железом, привозимым другими нациями, и объявили, что без этого невозможны уступки в отношении к нашим винам и мылу. Верженнь предварительно уполномочил меня согласиться на эти требования, но только в крайнем случае. Увидев, что русские уполномоченные спешат окончить переговоры, я решился воспользоваться этим. Вместо того чтобы объявить им о полученном мною разрешении, я решительно отказывался сбавить пошлину с железа, ко вреду других держав, особенно Швеции, нашей союзницы. Я даже объявил, что эти требования могут послужить достаточным поводом к моему отказу подписать акт. Эта смелая выходка мне удалась. Русские члены конференции, чтобы предупредить разрыв, удовольствовались условием, что для продажи им будут предоставлены те же выгоды, какими пользуются народы, платящие меньшие пошлины. В вознаграждение за это уравнение прав они согласились на сбавку пошлин с нашего вина и мыла, как было условлено прежде. Таким образом, при обоюдном желании скорее совершить этот акт, мы после двухчасового совещания окончательно составили все статьи трактата. 9 января (ст. ст.) были написаны грамоты, и наконец 31 декабря 1786 / 11 января 1787 года договор был скреплен подписями, а 2/13 я отослал его с курьером к Верженню. Января 17-го (1787) я отправился в Царское Село и 18-го числа выехал оттуда с императрицею в Крым. Я уезжал совершенно довольный тем, что успел заключить выгодный договор между королем и государыней, которая оказывала такую искреннюю приязнь и была так добра ко мне. Я предпринимал это любопытное и великолепное путешествие при самых счастливых обстоятельствах, потому что мне удалось тогда согласить требования моего долга с чувством моей признательности. Только что окончил я продолжительные, важные и трудные переговоры и устранил разные препятствия, которые мне предстояли, с одной стороны, в происках завистливых английских купцов, с другой — в нерасположении ко мне русских министров, когда мне открылось новое поприще. Предназначенный судьбою на самые различные роли, я должен был на этот раз следовать за торжественной колесницей Екатерины, проехать по ее огромному царству, посетить Тавриду, славную в мифологии и в истории и ныне смело исторгнутую женщиной от диких сынов Магомета. Мне суждено было видеть, как на пути принесут ей дань лести и похвал толпы иностранцев, привлеченных блеском власти и богатства; увидеть польского короля, возведенного на престол и недавно лишенного части своих владений этою могущественною государыней; наконец, наследника цесарей, императора Запада, который, сложив на время венец и багряницу свою, станет в ряды царедворцев, чтобы закрепить с нею связи взаимного союза, грозившего нарушить свободу Польши, безопасность Пруссии и мир всей Европы. Будучи вместе придворным и дипломатом, я должен был, снискивая благорасположение Екатерины, в то же время деятельно следить за предприятиями и действиями честолюбивой государыни, которая тогда, покрывая многочисленными войсками берега Днепра и Черного моря, казалось, грозила вместе с Иосифом II разрушить Турецкую империю. Для исполнения этой странной обязанности я не имел ни чиновников, ни канцелярии, ни секретаря. Я должен был участвовать в беспрестанно сменяющихся поездках, празднествах, публичных аудиенциях, собраниях и забавах, не имея достаточной свободы для наблюдений и довольно времени, чтобы давать себе отчет в том, что могло поразить мой взор и мой ум.

Путешествия двора нисколько не походят на обыкновенные путешествия, когда едешь один и видишь людей, страну, обычаи в их настоящем виде. Сопровождая монарха, встречаешь всюду искусственность, подделки, украшения... Впрочем, почти всегда очарование привлекательнее действительности, поэтому волшебные картины, которые на каждом шагу представлялись взорам Екатерины и которые я постараюсь изобразить, по новости своей будут для многих любопытнее, нежели во многих отношениях полезные рассказы иных ученых, объехавших и исследовавших философским взглядом это огромное государство, которое недавно лишь выступило из мрака и вдруг стало мощно и грозно, при первом порыве своем к просвещению.

За месяц до нашего отъезда в Крым князь де Линь, к сожалению моему, оставил нас, чтобы отвезти Иосифу II маршрут императрицы. Мы съехались с ним уже в Киеве. Он снова явился, как был всегда — непринужденно веселый и остроумный, полный благородства и естественности в обращении, всегда в одинаковом расположении духа, как человек умный и благонамеренный, с тем творческим разнообразным воображением, которое всегда находит пищу для разговора и, несмотря на придворный этикет, разгоняет скуку.

Января 17-го Фитц-Герберт, граф Кобенцель и я, отобедав в С.-Петербурге у австрийского консула, отправились в Царское Село, где мы нашли императрицу молчаливою и задумчивою против ее обыкновения. Ее огорчила невозможность взять с собою великих князей Александра и Константина. Граф Мамонов был в лихорадке, Екатерина ощущала то, что обыкновенно чувствуют люди, которым судьба постоянно благоприятствует: малейшее стеснение составляет для них предмет неожиданного горя. Она приняла нас ласково, но мало говорила и посадила за лото, хотя, сколько мне известно, играла в эту игру довольно редко. Она скоро заметила, какую скуку наводила на меня эта забава: я нехотя дремал. Несколько раз она шутила надо мною; чтобы отшутиться, я сказал ей стихи, сочиненные мною в Париже для супруги маршала Люксембурга — женщины, известной своим умом и тем не менее любившей это скучное средство препровождения времени:

Le loto, quoi que l’on en dise,  
Sera fort longtemps en credit;  
C'est l'excuse de la betise   
Et le repos des gens d'esprit.   
Ce jeu vraiment philosophique   
Met tout le monde de niveau;   
L'amour propre, si despotique,   
Depose son sceptre au loto.   
Esprit, bon gout, qrace et saillie,   
Seront nuls tant q'on у jouera.   
Luxembourg, quelle modestie!   
Quoi! vous joueza ce jeu la?

(Что бы ни говорили, а лото долго будет в почете; это убежище для глупых и отдохновение для умных. Эта истинно философская игра уравнивает всех; деспот-самолюбие слагает скипетр свой пред нею. Ум, вкус, красота, остроумие ничтожны во время этой игры. Герцогиня, как вы скромны! Неужели вы играете в эту игру?)

Мы сидели недолго: в восемь часов все разошлись. Мы сошлись снова у графа Кобенцеля, но и там не было веселее. С любопытством приняли мы приглашение участвовать в этом путешествии и ожидали его, но перед отъездом нам было как-то тягостно. Это было как бы предчувствие тех долгих бурь и страшных переворотов, которые за ним последовали. Впрочем, величественная и вместе ужасная будущность была сокрыта от нас непроницаемым покровом, и наша мгновенная грусть объяснилась самыми простыми, обыкновенными обстоятельствами и нисколько не зависела от каких-либо дальновидных предположений.

Фитц-Герберт, склонный к задумчивости и уединению, не мог освоиться с придворною жизнью и с сожалением расставался с одною русскою дамою, которую страстно любил, и с искренним другом своим, прелюбезным англичанином г-ном Еллисом. Я был чрезвычайно озабочен письмами, полученными мною из Франции. Волшебная повязка, которую навязал нам на глаза министр Каллонь, спала; все предвещало Франции великий переворот, а смелый и легкомысленный министр только ускорял его крутыми мерами, которыми думал его предупредить. К тому же во время долгого пути в 400 миль до Крыма и других 400 миль обратно до Петербурга я должен был ограничить свою переписку и только изредка мог получать известия о моей жене, моих детях, моем отце, моем правительстве — обо всем, к чему я был привязан. Это обстоятельство усиливало горесть разлуки. Из нас троих один граф Кобенцель оставался ненарушимо веселым. Двор был его стихиею, и чувство зависимости имело для него свою прелесть. Впрочем, мы были еще молоды. В пору жизненной весны заботы не оставляют следов в сердце и морщин на лбу; наша задумчивость была лишь легкое облачко; на другое утро оно исчезло, как сон.

18 января 1787 года мы пустились в путь. Императрица посадила к себе в карету г-жу Протасову, графа Мамонова, графа Кобенцеля, обер-шталмейстера Нарышкина и гофмаршала Шувалова. Во вторую карету поместили Фитц-Герберта, меня, графа Чернышева и графа Ангальта. Поезд состоял из четырнадцати карет и 124 саней с 40 запасными. На каждой станции нас ожидали 560 лошадей.

Было 17 градусов мороза, дорога прекрасная, и мы ехали славно. Наши кареты на высоких полозьях как будто летели. Чтобы защищаться от холода, мы закутались в медвежьи шубы, надетые сверх другой, более нарядной и богатой, но тоже меховой одежды; на головах у нас были собольи шапки. Таким образом, мы не замечали стужи, даже когда она доходила до 20 градусов. На станциях везде было так хорошо натоплено, что скорее мы могли подвергнуться излишнему жару, чем холоду. В это время самых коротких дней в году солнце вставало поздно, и чрез шесть или семь часов наступала уже темная ночь. Но для рассеяния этого мрака восточная роскошь доставила нам освещение: на небольших расстояниях по обеим сторонам дороги горели огромные костры из сваленных в кучи сосен, елей, берез, так что мы ехали между огней, которые светили ярче дневных лучей. Так величавая властительница Севера среди ночного мрака изрекала свое: «*Пусть будет свет*!» В 72 верстах от Петербурга мы остановились отобедать в маленьком, новом и красивом городке Рожественске (Рождествено). Здесь ее величество, возвратившись к своей обычной веселости, с крайнею любезностью выразила мне удовольствие по поводу заключения торгового трактата, подписанного за несколько дней перед тем ее министрами и мною.

Этот рассказ был бы однообразен, если бы я, как чересчур добросовестный путешественник, стал говорить о всех городах и местечках, чрез которые мы проезжали или где останавливались на этом длинном пути. Я упомяну только о тех, которые по своему объему, древности, богатству и истории могут быть достойны нашего внимания. {Мы опускаем большую часть этих описаний, совершенно незначительных и замедляющих ход рассказа. Наблюдения Сегюра из окон кареты не могли быть дельны; притом оказывается, что он заимствовал свои исторические и географические сведения из путеводителя, изданного для этого путешествия (см. Роспись Смирдина, №8801). Эта книга, вероятно, передана была иностранцам, сопутствовавшим государыне, во французском переводе, из которого Сегюр делал извлечения, иногда даже не изменяя слов.}

Первая часть этого путешествия, начатого холодною зимою, не может быть обильна описаниями. Достаточно сказать, что мы проезжали по обширным снежным равнинам, чрез леса сосен и елей, которых ветви, опушенные инеем, порою при солнечном освещении блистали брильянтами и кристаллами. Можно себе представить, какое необычайное явление представляли на этом снежном море дорога, освещенная множеством огней, и величественный поезд царицы Севера со всем блеском самого великолепного двора. В городах и деревнях этот одинокий путь покрывался толпами любопытных горожан и поселян: они, не замечая стужи, громкими криками приветствовали свою государыню.

Обычный порядок, который императрица ввела в свой образ жизни, почти не изменился во время ее путешествия. В шесть часов она вставала и занималась делами с министрами, потом завтракала и принимала нас. В девять часов мы отъезжали и в два останавливались для обеда; после того снова останавливались в семь. Везде она находила дворец или красивый дом, приготовленный для нее. Мы ежедневно обедали с нею. После нескольких минут, посвященных туалету, императрица выходила в залу, разговаривала, играла с нами; в девять часов уходила к себе и занималась до одиннадцати. В городах нам отводили покойные квартиры в домах зажиточных людей. В деревнях мне приходилось спать в избах, где иногда от нестерпимой жары нельзя было уснуть.

Во второй день странствия я с Фитц-Гербертом сидел в карете императрицы. Разговор был жив, весел, разнообразен и не умолкал. Она, между прочим, рассказала нам, как однажды, узнав, что ее хулили за данное ею согласие на брак одного морского офицера с негритянкою, она на это сказала: «Видите, что это согласно с моими честолюбивыми видами на Турцию, потому что я дозволила торжественно отпраздновать союз русского флота с Черным морем». Часто говорила она о варварстве, вялости, невежестве мусульман, о глупой жизни их султанов, которых деятельность ограничивалась стенами гарема. «Эти слабоумные деспоты, — говорила она, — изнеженные наслаждениями сераля, управляемые улемами и покорные янычарам, не умеют ни рассуждать, ни говорить, ни управлять, ни вести войну и вечно остаются детьми». Она уверяла, что евнухи, стоящие ночью на страже у ложа султана, доводят свою глупую и раболепную внимательность до того, что будят своего владыку, когда им покажется, что он видит дурной сон. Эта внимательность менее опасная, но столь же благоразумная, как услуга, оказанная медведем своему другу в забавной басне Лафонтена. Когда разговор зашел об огромности Русской Империи, о разнообразии ее обитателей и о множестве препятствий, которые должны были преодолеть Петр и его наследники для просвещения стольких разнообразных племен, то государыня рассказала нам о своей поездке по берегам Волги. «В тех местах, — говорила она, — такое изобилие всего, что успехи промышленности по необходимости должны быть медленны; там не знают нужды, которая одна только может подстрекнуть народ к труду. Если даже прибрежные жители этой большой реки будут пренебрегать обрабатыванием своих полей и многочисленными стадами, то и тогда одна рыбная ловля не даст им умереть голодною смертью. Мне случилось видеть, что сто двадцать человек наедались досыта стерлядями, которые все вместе стоили не более 35 копеек».

Места, которые мы проезжали в начале путешествия, представляли мало пищи вниманию: повсюду леса и замерзлые болота. В одной Петербургской губернии заключалось 72 000 десятин леса. Но потребление его, вынуждаемое климатом, увеличилось до такой степени, что заметно стало уменьшение этих лесов, и государыня запретила указом вырубать более трети его в год.

Исключая предметы политические, разговор шел обо всем, что могло оживить беседу, и государыня поддерживала его с чрезвычайною непринужденностью, умом и веселостью, так что дни мелькали незаметно, и мы не видели, как приехали в Порхов — замечательный город, где псковский губернатор князь Репнин принял нас торжественно и пышно. Князь Репнин, приобретший некоторую известность на поле брани, был нелюбим в Польше за свою гордость. Достаточно одной черты: однажды в Варшаве король Станислав был в театре; первый акт пьесы был уже сыгран, когда русский посланник вошел в свою ложу. Заметив с досадою, что его не дождались, он велел опустить занавес и снова начать пьесу.

Русские так привыкли к такому обхождению с поляками, что граф Стакельберг, который был гораздо любезнее и обходительнее князя Репнина, играл, однако, в Варшаве роль скорее короля, чем дипломата. Мне рассказывали, что когда барон Тугут, будучи проездом в Польше и пожелав представиться Станиславу, вошел в залу аудиенций, то увидел человека, обвешанного орденами и окруженного высшими сановниками двора; он принял его за короля и сделал перед ним три обычных поклона. Окружавшие его заметили ему, что он ошибся, и указали на короля, который сидел в углу и запросто разговаривал с двумя-тремя лицами.

Так как я не намерен предлагать здесь скучный курс географии, то поспешу достигнуть Смоленска, будучи уверен, что никому не любопытно следить за мною чрез села и деревни, в которых мы останавливались по два раза в день и которые совершенно нежданно делались местопребыванием величественного двора. Бедные поселяне с заиндевевшими бородами, несмотря на холод, толпами собирались и окружали маленькие дворцы, как бы волшебною силою воздвигнутые посреди их хижин, дворцы, в которых веселая свита императрицы, сидя за роскошным столом и на покойных широких диванах, не замечала ни жестокости стужи, ни бедности окрестных мест; везде находили мы теплые покои, отличные вина, редкие плоды и изысканные кушанья. Даже скука, эта вечная спутница однообразия, была изгнана присутствием любезной государыни... Иногда по вечерам мы забавлялись играми, сочинением шарад, загадок, стихов на заданные рифмы. Раз Фитц-Герберт предложил мне следующие рифмы: amour, frotte, tambour, note. Я написал на них следующие стихи:

De vingt peuples nombreux Catherine est l'amour:  
Craignez de l’attaguer; malheua qui s'y frotte!

La renommee est son tambour,  
Et l'histoire son garde-note.

(Екатерина — предмет любви двадцати народов. Не нападайте на нее: беда тому, кто ее затронет! Слава — ее барабанщик, а история — памятная книжка.)

Эта безделушка понравилась и заслужила себе более похвал, чем иная ода. При дворе, и притом в дороге, все сходит с рук.

Кто постоянно счастлив и достиг славы, должен бы, кажется, сделаться равнодушным к голосу зависти и к злым, насмешливым выходкам, которыми мелкие люди действуют против знаменитостей. Но в этом отношении императрица походила на Вольтера. Малейшие насмешки оскорбляли ее самолюбие; как умная женщина, она обыкновенно отвечала на них улыбкою, но в этой улыбке была заметна некоторая принужденность. Она знала, что многие, особенно французы, считали Россию страною азиатскою, бедною, погрязшею в невежестве, во мраке варварства; что они с намерением не отличали обновленную, европеизированную Россию от азиатской и необразованной Московии. Сочинение аббата Шаппа, изданное, как думала императрица, по распоряжению герцога Шуазеля, еще было ей памятно, и ее самолюбие беспрестанно уязвлялось остротами Фридриха II, который часто со злою ирониею говорил о финансах Екатерины, о ее политике, о дурной тактике ее войск, о рабстве ее подданных и о непрочности ее власти. Зато государыня очень часто говорила нам о своей огромной империи и, намекая на эти насмешки, называла ее своим маленьким хозяйством: «Как вам нравится *мое маленькое хозяйство*? Не правда ли, оно понемножку устраивается и увеличивается? У меня не много денег, но, кажется, они употреблены с пользою?» Другой раз, обращаясь ко мне, она сказала:

— Я уверена, граф, что ваши парижские красавицы, модники и ученые теперь глубоко сожалеют о вас, что вы принуждены путешествовать по стране медведей, между варварами, с какой-то скучною царицей. Я уважаю ваших ученых, но лучше люблю невежд; сама я хочу знать только то, что мне нужно для управления *моим маленьким хозяйством*.

— Ваше величество изволите шутить на наш счет, — возразил я, — но вы лучше всех знаете, что думает о вас Франция. Слова Вольтера как нельзя лучше и яснее выражают вашему величеству наши мнения и наши чувства. Скорее же, вы можете быть недовольны тем, что необычайное возрастание вашего *маленького хозяйства* внушает некоторым образом страх и зависть даже значительным державам.

— Да, — говорила она иногда, смеясь, — вы не хотите, чтобы я выгнала из моего соседства ваших детей-турок. Нечего сказать, хороши ваши питомцы, они делают вам честь. Что, если бы вы имели в Пьемонте или Испании таких соседей, которые ежегодно заносили бы к вам чуму и голод, истребляли бы и забирали бы у вас в плен по 20 000 человек в год, а я взяла бы их под свое покровительство? Что бы вы тогда сказали? О, как бы вы стали тогда упрекать меня в варварстве!

Мне трудно было отвечать в таких случаях. Я отделывался, как умел, общими местами об утверждении мира, о сохранении равновесия Европы и т. д. Впрочем, так как это были отрывочные разговоры, шутки, а не политические совещания, то я не приходил в замешательство, и несколько шуточных выходок выводили меня из затруднительного положения защищать пышными словами дурное дело. Мне кажется постыдною эта ложная и близорукая политика, по которой сильные державы вступают в союз и делаются почти данниками грубых и жестоких мавров, алжирцев, аравитян и турок, в разные времена бывших бичом и ужасом образованного человечества.

До Смоленска наши дни распределились следующим порядком: первый — в селе Городце, второй — в Порхове, третий — в Бежаницах, четвертый — в Великих Луках, пятый — в Велиже и шестой — в Смоленске. В шесть дней мы проехали около 200 миль. Императрица устала. Впрочем, трудно было в такую холодную пору ехать с большим удобством, скоростью, роскошью и удовольствием. Против стужи взяты были разные предосторожности, быстрота санной езды делала большие расстояния незаметными, а свет огромных костров на каждых 30 саженях дороги рассевал мрак длинных ночей. Но так как везде императрица должна была делать приемы и выходы, осматривать заведения, давать советы и поощрительные награды, то на отдых ей оставалось немного времени. Даже сидя в своей карете и оставляя заботы правления, императрица употребляла досуг свой на то, чтобы пленять нас, и была неистощимо умна, любезна и весела; это занятие, конечно, приятное, но вместе с тем и утомительное.

Екатерина решилась остаться три дня в Смоленске. Это отдалило наше прибытие в Киев, где нас ожидало множество приезжих со всех сторон Европы. Государыня, помолившись в соборе, удалилась в свой дворец. Но на другой день она принимала дворянство, городские власти, купечество, духовенство, а вечером дала пышный бал, на котором было до трехсот дам в богатых нарядах; они показали нам, до какой степени внутри империи дошло подражание роскоши, модам и приемам, которые встречаешь при блистательнейших дворах европейских. Наружность во всем выражала образование, но за этим легким покровом внимательный наблюдатель мог легко открыть следы старобытной Московии.

Архиепископ Могилевский явился к императрице. С виду он более походил на военного человека, чем на пастыря: это меня поразило. «Не удивляйтесь, — сказала мне императрица, — он долго был драгунским капитаном; я бы советовала вам поисповедаться у него». Добрый пастырь показал нам, что он не забыл еще того поприща, на котором прежде действовал: он проводил нас до Киева верхом, проскакивая по 35 верст в день и не жалуясь ни на усталость, ни на гололедицу.

Я обрадовался, когда миновали эти три дня, которые императрице угодно было величать днями отдыха, между тем как они употреблены были на беспрестанные приемы и представления и показались мне утомительнее дней, проведенных в дороге. В самом деле, не приятнее ли было быстро катиться по снегу в просторной, покойной карете, в теплой одежде, среди приятного, образованного, веселого общества, чем стоять в пышном наряде целое утро среди огромных зал, присутствовать при приеме разных депутаций и выслушивать длинные и вычурные речи? Мы снова пустились в путь и после десятидневной езды, 29 января / 8 февраля 1787 года, приехали в Киев, древнюю столицу первых русских князей. Город этот лежит на Днепре и отстоит от Петербурга почти на 400 миль. Это был предел первой части нашего путешествия, и мы должны были остаться здесь до тех пор, пока река освободится от льда и откроется навигация. А этого нельзя ожидать ранее апреля. От Смоленска до Киева, несмотря на то что густой снег застилал нам виды, заметно было, что по мере нашего приближения к югу селения попадались все чаще и были обширнее. До Киева мы проехали десять городов: Мстиславль, Чериков, Новое Место, Стародуб, Новгород-Северск, Сосницу, Березну, Чернигов, Нежин и Козелец. Императрица, не ограничиваясь одними лишь обычными приветствиями, везде подробно расспрашивала чиновников, духовных, помещиков и купцов о их положении, средствах, требованиях и нуждах. Вот чем она снискивала себе любовь своих подданных и допытывалась правды, чтобы обнаружить огромные злоупотребления, которые многие старались скрыть от нее. Однажды она сказала мне: «Гораздо более узнаешь, беседуя с простыми людьми о делах их, чем рассуждая с учеными, которые заражены теориями и из ложного стыда с забавною уверенностью судят о таких вещах, о которых не имеют никаких положительных сведений. Жалки мне эти бедные ученые! Они никогда не смеют сказать: «*Я не знаю*», а слова эти очень просты для нас, невежд, и часто избавляют нас от опасной решимости. Когда сомневаешься в истине, то лучше ничего не делать, чем делать дурно».

По этому поводу она рассказала мне историю про Мерсье де ла Ривиера, писателя с замечательным талантом, издавшего в Париже сочинение «*О естественном и существенном порядке политических обществ*». Книга эта пользовалась блестящим успехом по соответствию содержавшихся в ней мыслей с началами, принятыми экономистами. Так как Екатерина хотела познакомиться с этой политико-экономическою системою, то она пригласила нашего публициста в Россию и обещала ему за это приличное вознаграждение. Это было в то время, когда государыня приготовлялась к торжественному въезду в Москву и потому просила Ривиера дождаться ее в этой столице.

«Господин де ла Ривиер, — рассказывала императрица, — недолго собирался и по приезде своем немедленно нанял три смежных дома, тотчас же переделал их совершенно и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих — комнаты для присутствия. Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империею и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи пребольшими буквами: *Департамент внутренних дел, Департамент торговли, Департамент юстиции, Департамент финансов, Отделение для сбора податей* и пр. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представили как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей соответственно их способностям. Все это наделало шуму в Москве, и так как все знали, что он приехал по моей воле, то нашлись доверчивые люди, которые уже заранее старались к нему подделаться. Между тем я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но только честолюбие немного помутило его разум. Я, как следует, заплатила за все его издержки, и мы расстались довольные друг другом. Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель, но несколько пристыженный как философ, которого честолюбие завело слишком далеко».

На этот же случай намекала Екатерина, когда писала к Вольтеру: «Г. де ла Ривиер приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился приехать из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах».

Знаменитый Дидро внушил Екатерине желание познакомиться с де ла Ривиером. Дидро сам приезжал в Петербург; Екатерине понравилась в нем живость ума, своеобразность способностей и слога и его живое, быстрое красноречие. Этот философ — может быть, недостойный этого названия, потому что был нетерпим в своем безверии и до забавного фанатик в идее небытия — был, однако, одарен пылкою душою и потому, казалось бы, не должен был сделаться материалистом. Впрочем, имя его, кажется, пережило большую часть его сочинений. Он лучше говорил, нежели писал; труд охлаждал его вдохновение, и сочинениями своими он далеко отстоит от великих наших писателей, но пламенная речь его была увлекательна, сила выражений, которые он всегда находил без труда, предупреждала суд о верности или пустоте его мыслей; речь его поражала, потому что была блестяща и картинка; это был гений на парадоксы и проповедник материализма.

«Я долго с ним беседовала, — говорила мне Екатерина, — но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами. Однако так как я больше слушала его, чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я — скромной его ученицею. Он, кажется, сам уверился в этом, потому что, заметив наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: «Г. Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушал ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы». Я уверена, что после этого я ему показалась жалка, а ум мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед».

Несмотря на эту неудачу, автор «*Отца семейства*», «*Жизни Сенеки*» и основатель великого памятника, «*Энциклопедии*», более обязан России, чем Франции. В отечестве своем он был заключен в тюрьму, тогда как императрица приобрела за 50 000 франков его библиотеку, предоставив ему право пользоваться ею до смерти, и сверх того купила ему дом в Париже. Полагаю, что здесь будет кстати привести отрывки из двух писем Екатерины к Вольтеру и ответ Вольтера.

«Милостивый государь, моя голова так же тверда, как имя мое неблагозвучно. Я буду отвечать дурною прозою на ваши прелестные стихи. Сама я никогда не писала стихов, но тем не менее восхищалась вашими. Они меня так избаловали, что я почти не могу читать других. Я ограничусь своим огромным ульем — нельзя же приниматься вдруг за несколько дел. Никогда я не думала, что приобретение библиотеки доставит мне такие похвалы, какими все осыпают меня по случаю покупки книг Дидро. Вы, кому человечество обязано защитою невинности и добродетели в лице Каласа, согласитесь, что было бы жестоко и несправедливо разлучать *ученого с его книгами*».

*Другое письмо Екатерины*: «Блеск северной звезды — только северное сияние. Благодеяния, распространяющиеся на несколько сот верст и о которых вам угодно было упомянуть, не принадлежат мне. Калас обязан тем, что имеет, друзьям своим, так же как Дидро продажею своей библиотеки — своему другу. Ничего не значит — помочь своему ближнему из своих излишков, но быть ходатаем человечества и защитником угнетенной невинности — значит заслужить бессмертие».

*Ответ Вольтера*: «Прошу извинить меня, ваше императорское величество! Нет, вы не северное сияние; вы — самая блестящая звезда Севера, и никогда не бывало светила столь благодетельного. Все эти звезды оставили бы Дидро умереть с голоду. Он был гоним в своем отечестве, а вы взыскали его своими милостями».

Все государи этого времени видели, как наши парламенты обвиняют и осуждают смелые произведения философов, и в то же время ухаживали за философами, которых считали раздавателями славы. Екатерина и Фридрих в особенности жаждали ее и, как боги Олимпа, с наслаждением упивались ее благоуханием. Чтобы заслужить ее, они расточали милости Вольтеру, Руссо, Райналю, д'Аламберу и Дидро. Люди против своей воли живут среди атмосферы своего века, невольно увлекаются его вихрем; и те именно, которые более всего огорчались его прогрессом, первые содействовали его ускорению. Дворяне следовали их примеру, и только после такого участия в укреплении этого здания нового общественного порядка те и другие позабыли, что разум человеческий, как время, постоянно идет вперед и никогда не отступает, и задумали неисполнимую вещь — разрушить этот новый порядок. Можно устраивать настоящее, украшать будущее, все в мире может изменяться, но прошедшее возродиться не может; это не что иное для нас, как тень, которая существует только в наших воспоминаниях. Благоразумный страх, который обнаруживала Екатерина перед всем, что могло увлечь ее на опасный путь нововведений, напоминает мне, с каким гневом рассказывала она, как один русский лекарь, Самойлов, вздумал было лечить чуму, как оспу, и хотел для постепенного ослабления заразы прививать ее. Он сделал опыт на себе и несколько раз зачумлялся. Он просил дозволения распространить этот страшный опыт. Но добродушный доктор вместо дозволения от правительства получил добрый выговор за свое бессмысленное человеколюбие.

Фельдмаршал Румянцев в качестве местного губернатора принял государыню на границе губернии. Лицо этого маститого и знаменитого героя служило выражением его души; в нем видна была и скрытность, и гордость, признаки истинного достоинства; но в нем был оттенок грусти и недовольства, возбужденного преимуществами и огромным значением Потемкина. Соперничество во власти разъединяло этих двух военачальников: они шли, борясь между славою и милостью, и, как всегда почти бывает, восторжествовал тот, кто был любимец государыни.

Фельдмаршал не получал никаких средств для управления должностью; труды его подвигались медленно: солдаты его ходили в старой одежде, офицеры напрасно домогались повышений. Все милости, все поощрения падали на армию, над которою начальствовал первый министр.

Подъезжая к Киеву, испытываешь то особенное чувство уважения, какое всегда внушает вид развалин. К тому же живописное положение этого города придает прелесть первому впечатлению; смотря на него, вспоминаешь, что здесь колыбель огромной державы, долго пребывавшей в невежестве, от которого она освободилась не более как лет за сто и теперь стала так огромна и грозна.

Когда мы осмотрели эту древнюю столицу с ее окрестностями, императрица захотела узнать, какое впечатление она произвела на меня, Кобенцеля и Фитц-Герберта, и после с усмешкою заметила, что различие наших мнений дает довольно верное понятие о характере трех народов, которые мы представляли. «Как нравится вам Киев?» — спросила она у графа Кобенцеля. «Государыня, — воскликнул граф с выражением восторга, — это самый дивный, самый величественный, самый великолепный город, какой я когда-либо видел!» Фитц-Герберт отвечал на тот же вопрос: «Если сказать правду, так это незавидное место, видишь только развалины да избушки». Когда с таким же вопросом обратились ко мне, я сказал: «Киев представляет собою воспоминание и надежды великого города».

Для государыни построили дворец просторный, изящный и богато убранный. Она принимала в нем духовенство, правительственных лиц, представителей дворянства, купцов и иностранцев, приехавших во множестве в Киев, куда привлекло их величие и новость зрелища, здесь их ожидавшего. В самом деле, им представлялся великолепный двор, победоносная императрица, богатая и воинственная аристократия, князья и вельможи, гордые и роскошные, купцы в длинных кафтанах, с огромными бородами, офицеры в различных мундирах, знаменитые донские казаки в богатом азиатском наряде и которых длинные пики, отвагу и удальство Европа узнала недавно, татары, некогда владыки России, теперь подданные, женщины и христианки, князь грузинский, повергший к трону Екатерины дань Фазиса и Колхиды, несколько послов от бесчисленных орд киргизов, народа кочевого, воинственного, часто побеждаемого, но никогда еще не покоренного, наконец, дикие калмыки, настоящее подобие гуннов, своим безобразием некогда наводивших ужас на Европу, вместе с грозным мечом их жестокого владыки — Аттилы. Весь Восток собрался здесь, чтобы увидать новую Семирамиду, собирающую дань удивления всех монархов Запада. Это было какое-то волшебное зрелище, где, казалось, сочеталась старина с новизною, просвещение с варварством, где бросалась в глаза противоположность нравов, лиц, одежд самых разнообразных.

Императрица, всегда верная своим привычкам, в Киеве, как и в других городах, дала великолепный бал. Я надеялся, что, будучи в свите императрицы, на этом длинном пути увижу разные заведения и постройки в местах, где мы останавливались. Обманутый в своих ожиданиях, я в порыве негодования необдуманно высказал, что мне досадно проехать так далеко для того только, чтобы видеть везде тот же двор, слушать все те же православные обедни и присутствовать на балах. Екатерина узнала об этом и сказала: «Я слышала, будто вы порицаете меня за то, что я во всех городах устраиваю аудиенции и празднества; но вот почему это так: я путешествую не для того только, чтоб осматривать местности, но чтобы видеть людей; я довольно знаю этот путь по планам и по описаниям, и при быстроте нашей езды я бы немного успела рассмотреть. Мне нужно дать народу возможность дойти до меня, выслушать жалобы и внушить лицам, которые могут употребить во зло мое доверие, опасение, что я открою все их грехи, их нерадение и несправедливости. Вот какую пользу хочу я извлечь из моей поездки; одно известие о моем намерении поведет к добру. Я держусь правила, что «*глаз хозяйский зорок*» (l'oeil du mattre engraisse les chevaux).

Так как мы все, Кобенцель, Фитц-Герберт и я, предвидели, что, может быть, принуждены будем прожить в Киеве месяц или два, то приказали нашим людям приехать к нам, чтобы нам можно было устроиться порядочно и принимать знатных особ здешних и приезжих. Но все наши приготовления и сборы были напрасны, и мы должны были отослать нашу прислугу. Императрица непременно хотела, чтобы в продолжение всей дороги мы жили на ее счет. Я остановился в прекрасном доме, назначенном для меня и снабженном всем, что мне было нужно. Императрица прислала мне дворецкого, камердинеров, поваров, официантов, гайдуков, кучеров, форейторов, чудесное серебро, белье и фарфоровый сервиз, прекрасные вина, так что у меня было все, чтобы жить роскошно. Она запретила принимать от нас какую-либо плату, так что в продолжение всего путешествия единственно дозволенною для нас издержкою были подарки, какие бы нам заблагорассудилось делать хозяевам домов, в которых нас помещали. Мы соображались с волею императрицы, и как некогда в Польше я прожил несколько дней настоящим польским паном, так и в Киеве жил своим двором, как любой русский боярин или какой-нибудь потомок Рюрика или Владимира. Когда императрица не приглашала нас к своему столу, что случалось раза два в неделю, мы давали обеды у себя. Но скоро нам надоело жить раздельно, и мы согласились сходиться у графа Кобенцеля, потому что дом его был просторнее и покойнее и мог свободно вмещать большее число гостей, что для нас было приятнее. Сообща нам было легче нести тягостную обязанность принимать множество иностранцев, прибывших в Киев. По этому распорядку мне приходилось обедать дома только тогда, когда я был нездоров или хотел принять у себя только своих приятелей.

Мне было очень приятно свидеться с прибывшим из Варшавы графом Стакельбергом. Он радовался моим успехам, которыми, по правде сказать, я был отчасти обязан ему. Но какую перемену заметил я в нем! Это был другой человек: гордый и важный вице-король в Польше превратился в России в придворного, едва заметного в толпе; мне казалось, что я вижу развенчанного монарха. Впрочем, хотя Потемкин и другие русские министры добились того, что императрица обращалась с ним холодно, он довольно удачно выпутывался из этого неприятного положения. Привычка властвовать придала некоторую важность его движениям и медленность его речи, что казалось странным при дворе, но обличало в нем сильного человека, который привык внушать уважение и заставлять молчать.

Поляки явились толпами, разумеется, более из страха, чем по привязанности к владычице Севера. Между ними были графы Браницкий, Потоцкий, Мнишек, князь Сапега, княгиня Любомирская. В это время распространился слух, что десять русских полков вступят в польскую Украину, и это известие немало напугало поляков.

По случаю глупостей, наделанных недавно в России несколькими молодыми французами, и также из опасения, чтобы это не повредило моим намерениям сблизить Россию с Франциею и рассеять предубеждение императрицы против нас, я принужден был просить г-на Верження и отца моего, чтобы они реже и осторожнее дозволяли нашей молодежи выезжать в Россию. Они меня поняли, и поэтому в Киев прибыли только два француза, оба достойные люди: Александр Ламет и граф Эдуард Дилльон. Лафайет тоже объявил свое намерение явиться ко двору Екатерины, но так как он был выбран в члены собрания государственных чинов, то и не мог исполнить своего намерения. Императрица сожалела об этом: она очень желала познакомиться с ним. Императрица с отличным благоволением приняла Эдуарда Дилльона и особенно Александра Ламета. Умная, славолюбивая государыня любила покорять себе внимание людей, особенно достойных такой победы; она знала, что люди, известные по имени, достоинствам, подвигам, талантам, сочинениям или успехам в свете, распространяют славу монархов, польстивших их самолюбию. Раз ей случилось очень забавно обмолвиться в разговоре с Ламетом. У них как-то зашел разговор о дяде Ламета, маршале де Брольи (de Broglie). Отдав справедливость подвигам и способностям этого известного полководца, она сказала: «Да, мне всегда было жаль французов, что этот знаменитый маршал, слава и украшение своего отечества, не имеет детей, которые наследовали бы славу его имени и были бы так же известны в летописях войны». На это Ламет отвечал: «Замечание это было бы очень лестно для маршала, но, к счастью, оно ошибочно. Ваше величество имеет о нем неверные сведения; дядя мой так же счастлив в женитьбе, как и на военном поприще: у него большое семейство: он отец двадцати двух детей».

В Киеве увидал я многих генералов, с которыми не был знаком в Петербурге, потому что они были постоянно на службе или жили в своих поместьях, в удалении от двора. Двое из них особенно меня поразили: один — живостью нрава, а другой — странностью и оригинальностью, которою он обыкновенно прикрывал свои дарования, возбуждавшие зависть в его соперниках. Первый был генерал Каменский, человек живой, суровый, буйный и вспыльчивый. Один француз, напуганный его гневом и угрозами, пришел ко мне искать себе убежища; он сказал мне, что, определившись в услужение к Каменскому, он не мог довольно нахвалиться его обхождением, покуда они были в Петербурге, но что скоро господин увез его в деревню, и тогда все переменилось. Вдали от столицы образованный русский превратился в дикаря: он обходился с людьми своими, как с невольниками, беспрестанно ругался, не платил жалованья и бил за малейший проступок иногда и тех, кто не был виноват. Не стерпев такого своеволия, француз убежал и приехал в Киев, но и здесь клевреты генерала его преследовали. Один из них, который был добродушнее прочих, предупредил его, что генерал поклялся отделать его хорошенько, если он попадется ему в руки.

Рассказ этот возмутил меня. Я отправился к его гонителю и объявил ему, что не потерплю такого обхождения с французом. Мы горячо поспорили. Каменский находил странным, что я вмешиваюсь в дела его слуг и защищаю мерзавца, и объявил, что, несмотря на меня, разделается с ним. «Если так, генерал, — сказал я, — то я имею полное право взять вашу жертву под защиту. Я посланник и француз. Если вы решительно не захотите дать мне обещание прекратить преследование человека свободного по законам своего отечества и с которым вы не можете поступать, как с рабом, то я, как посол, сейчас же иду жаловаться к императрице, а потом, как французский офицер, потребую от вас удовлетворения за обиды, которые буду считать лично мне нанесенными, потому что я беру этого человека под свое покровительство».

Частное столкновение со мною не устрашило бы генерала, но, боясь прогневать императрицу, он усмирился. Он обещал исполнить мои требования, и мы расстались.

По прошествии многих лет этот же самый Каменский доказал мне свое злопамятство самым грубым образом. В первую войну французов с русскими, завершенную славным Тильзитским миром, сын мой, генерал Филипп Сегюр, после блистательного дела слишком далеко погнался за отступавшим неприятелем, был окружен и схвачен; его привели к генералу Каменскому. Каменский спросил его имя и хотел получить от него сведения о положении и числе французских армий. За его отказ он отплатил ему самым неприличным обращением. Он хотел заставить его пройти двадцать лье в снегу по колена, не дав ему времени оправиться и перевязать свои раны. Но русские офицеры, возмущенные жестокостию генерала, дали моему сыну кибитку, и чрез несколько дней он приехал в главную квартиру Апраксина, который своею любезностью и внимательностью заставил забыть дурное обращение мстительного москвитянина. Впоследствии мне рассказывали, что этот же самый Каменский под старость нисколько не стал мягче и будто бы погиб жертвою своей жестокости.

Генерал Суворов в другом отношении возбуждал мое любопытство. Своею отчаянною храбростью, ловкостью и усердием, которое он возбуждал в солдатах, он умел отличиться и выслужиться, хотя был небогат, не знатного рода и не имел связей. Он брал чины саблею. Где предстояло опасное дело, трудный или отважный подвиг, начальники посылали Суворова. Но так как с первых шагов на пути славы он встретил соперников завистливых и сильных настолько, что они могли загородить ему дорогу, то и решился прикрыть свои дарования под личиною странности. Его подвиги были блистательны, мысли глубоки, действия быстры. Но в частной жизни, в обществе, в своих движениях, обращении и разговоре он являлся таким чудаком, даже можно сказать сумасбродом, что честолюбцы перестали бояться его, видели в нем полезное орудие для исполнения своих замыслов и не считали его способным, вредить и мешать им пользоваться почестями, весом и могуществом. Суворов, почтительный к своим начальникам, добрый к солдатам, был горд, даже невежлив и груб с равными себе. Не знавших его он поражал, закидывая их своими частыми и быстрыми вопросами, как будто делал им допрос, — так он знакомился с людьми. Ему неприятно было, когда приходили в замешательство; но он уважал тех, которые отвечали определенно, без запинок. Это я испытал, будучи еще в Петербурге: я понравился ему моими лаконическими ответами, и он не раз у меня обедывал во время краткого своего пребывания в столице. Помнится мне, что раз я спросил его, правда ли, что в походах он почти не спит, принуждая себя к тому даже без надобности, ложится не иначе как на солому и никогда не снимает сапог. «Да, — отвечал он, — я ненавижу лень. Чтобы не разоспаться, я держу в своей палатке петуха, и он беспрестанно будит меня; если я вздумаю иногда понежиться и полежать покойнее, то снимаю одну шпору». Когда ему дали чин фельдмаршала, то он в ознаменование этого события устроил престранную церемонию в присутствии своих солдат. Он велел поставить вдоль стены столько стульев, сколько было генералов старше его по службе, и, сняв мундир, начал перепрыгивать через каждый стул, как школьники, играющие в чехарду; показав этим, что он обогнал своих соперников, он надел фельдмаршальский мундир со всеми своими орденами и с важностью приказал священнику отслужить молебен. Рассказывают, что, получив от императора почетнейший из австрийских орденов, он также сам совершил свое посвящение в кавалеры его перед огромным зеркалом, с самыми странными причудами. Известно, что во время похода в Швейцарии, будучи принужден, по ошибке Корсакова, отступить от Массены, он приказал вырыть яму и, встав в нее, закричал солдатам, что если они хотят бежать и не станут грудью против неприятеля, то пусть прежде зароют его и попрут прах его ногами.

В бытность мою в России Суворов еще не достиг высших военных чинов. Мы видели в нем славного воина, генерала, отважного в армии и весьма странного при дворе. Когда Суворов встретился с Ламетом, человеком не слишком мягкого нрава, то имел с ним довольно забавный разговор, который я поэтому и привожу здесь. «Ваше отечество?» — спросил Суворов отрывисто. «Франция». — «Ваше звание?» — «Солдат». — «Ваш чин?» — «Полковник». — «Имя?» — «Александр Ламет». — «Хорошо». Ламет, не совсем довольный этим небольшим допросом, в свою очередь обратился к генералу, смотря на него пристально: «Какой вы нации?» — «Должно быть, русский». — «Ваше звание?» — «Солдат». — «Ваш чин?» — «Генерал», — «Имя?» — «Александр Суворов». — «Хорошо». Оба расхохотались и с тех пор были очень хороши между собою.

Князь Потемкин постоянно почти находился в отсутствии, занятый приготовлениями великолепного зрелища, которое намеревался представить взорам своей государыни при вступлении ее в области, ему подчиненные. Даже заочно не смели гласно осуждать его, лишь тайком бессильная зависть подкапывалась под его славу. Порою до слуха императрицы доходили легкие жалобы и намеки на своевольное управление, гордость и несправедливость могущественного любимца. Один только фельдмаршал Румянцев высказывал прямо и благородно свое мнение и свое неудовольствие. Скоро князь приехал. Тогда снова послышались одни похвалы, снова стали оказывать ему одни почести, с самою усердною лестью. Вместе с ним прибыл и принц Нассау-Зиген, и мы встретились, как старые товарищи по службе. Я представил его императрице, и он благодарил ее за подаренную ему землю в Крыму и за дозволение выставить русский флаг на своих судах. Ее величество пригласила его путешествовать с нею. В ожидании разрешения от моего двора я уполномочил его носить мундир, присвоенный русским дворянам. Наконец и князь де Линь возвратился из Вены. Своим присутствием он оживил все наше общество, рассеял скуку и придал жизни всем нашим увеселениям. Тогда нам стало казаться, что жестокая стужа не так сильна и что скоро пробудится веселая весна.

Раз или два в неделю императрица имела собрание при дворе и давала большой бал или прекрасный концерт. В прочие дни стол ее накрывался на восемь или на десять приборов. Трое послов, ее сопровождавших, были ее постоянными гостями, также князь де Линь и иногда принц Нассау. Вечера мы всегда проводили у нее, в это время она не терпела принуждения и этикета, мы видели не императрицу, а просто любезную женщину. На этих вечерах рассказывали, играли в бильярд, рассуждали о литературе. Однажды государыне вздумалось учиться писать стихи. Целые восемь дней я объяснял ей правила стихосложения. Но когда дошло до дела, то мы заметили, что совершенно напрасно теряли время. Нет, я думаю, слуха, столько не чувствительного к созвучию стиха. Ум ее, обширный в политике, не находил образов для воплощения мечты. Он не выдерживал утомительного труда прилаживать рифмы и стихи. Она уверяла, что попытки ее в этом роде будут так же неудачны, как попытки славного Малебранша, который говорил, что, сколько ни старался, не мог сочинить более двух стихов:

Il fait le plus beau temps du monde  
Pour aller a cheval, sur la terre et sur l'onde.

(Теперь отличная погода, чтобы ездить верхом и по земле, и по воде.)

Безуспешность этих опытов, казалось, раздосадовала государыню. Фитц-Герберт сказал ей: «Что же делать! Нельзя же в одно время достигнуть всех родов славы, и вам должно довольствоваться вашим двустишием, посвященным вашей собаке и вашему доктору:

Ci-git la duchesse Anderson,  
Qui mordit Monsieur Rogerson».

(Здесь похоронена герцогиня Андерсон (любимая собачка императрицы), укусившая господина Роджерсона. (Роджерсон Иван Самойлович — лейб-медик, императрицы.))

Итак, я отказался от этих уроков поэзии и объявил августейшей моей ученице, что ей надо ограничиться одной прозою.

Князь де Линь не допускал, чтобы скука хоть на минуту водворилась в нашем маленьком кружке. Он беспрестанно рассказывал разные забавные анекдоты и сочинял на разные случаи песенки и мадригалы. Пользуясь исключительным правом говорить что ему вздумается, он вмешивал политику в свои загадки и рассказы. Хотя веселье его доходило иногда до дурачества, но порой под видом шутки он высказывал дельные и колкие истины. Он был привычный царедворец, расчетливый льстец, добр сердцем, мудрец умом. Его насмешки забавляли, но никогда не оскорбляли. Однажды он презабавно подшутил надо мною и Кобенцелем. Страдая вместе с нами легкою лихорадкою, он как-то вздумал укорять нас, что мы напрасно не лечимся и что мы ужасно переменились в лице, жалеть о нас и наконец объявил, что решится показать нам пример: будет лечиться и употребит все средства, чтобы поскорее выздороветь и быть в состоянии продолжать путь. Убежденный его доводами, Кобенцель, у которого болело горло, пустил себе кровь; я также принял какие-то лекарства. Несколько дней спустя мы сошлись у императрицы, и она сказала князю: «У вас сегодня совсем здоровый вид; я думала, что вы больны. Был у вас мой доктор?» — «О, государыня, мои болезни не бывают продолжительны, у меня есть особенное средство лечиться. Как только я занемогу, я тотчас обращаюсь к своим двум друзьям: пущу кровь Кобенцелю, а Сегюру даю слабительного, и после этого я здоров».

Императрица похвалила его средство, намеревалась его испробовать и вдоволь посмеялась над нашею покорностью.

Общество в Киеве представляло три различные картины. У императрицы можно было видеть то великолепнейший двор, то самый тесный кружок. Дом, где жили Кобенцель, Фитц-Герберт и я и где мы принимали и русских, и иностранцев, принял вид какой-нибудь европейской кофейни, которая была всегда полна и в которой сходились разноплеменные люди; здесь раздавалась речь на различных языках и употреблялись блюда, фрукты и вина разных стран. Время проходило в общей беседе или в частных толках о разных предметах — от важнейших до самых обыкновенных.

Напротив того, если кто подымался в Печерский монастырь, чтобы посетить Потемкина, который там расположился, то подумал бы, что он присутствует при аудиенции визиря в Константинополе, Багдаде или Каире. Там господствовало молчание и какой-то страх. По врожденной ли склонности к неге или из притворного высокомерия, которое он считал уместным обнаруживать, этот могущественный и прихотливый любимец Екатерины, изредка показываясь в фельдмаршальском мундире, покрытом орденами с бриллиантами, весь в шитье и галунах, расчесанный, напудренный, чаще всего ходил в халате на меху, с открытой шеей, в широких туфлях, с распущенными и нечесаными волосами; обыкновенно он лежал, развалясь на широком диване, окруженный множеством офицеров и значительнейшими сановниками империи; редко приглашал он кого-нибудь садиться и почти всегда усердно играл в шахматы, а потому не считал себя обязанным обращать внимание на русских или иностранцев, которые посещали его.

Я знал все эти странности. Но так как большая часть из присутствовавших не знала об искренней взаимности, которая водворилась между нами, то, признаюсь, мое самолюбие иногда страдало, когда мне приходило на мысль, что иностранцы увидят посла французского короля принужденным подчиняться вместе с прочими высокомерию и причудам Потемкина. Но, чтобы не возбудить ложных толков, я поступил следующим образом: когда я приехал к нему и обо мне доложили, я вошел и, видя, что князь сидит за шахматами, не удостоивая меня взглядом, я прямо подошел к нему, обеими руками взял и приподнял его голову, поцеловал его и попросту сел подле него на диван. Эта фамильярность немного удивила зрителей, но так как Потемкину она не показалась неуместною, то все поняли мои отношения к нему. Из уважения ли ко мне или к достоинствам Ламета и Дилльона, которых ему расхвалили, он принял их довольно любезно и вежливо. Вскоре после того прибыл в Киев один испанец, которого имя впоследствии получило жалкую известность в политическом мире; он назывался Миранда. Это был человек образованный, умный, вкрадчивый и смелый. Рожденный в Америке, он был в родственных отношениях с семейством Аристегитта, которое я узнал в бытность мою в Каракасе и о котором упоминал в начале записок. Во время войны испанское правительство открыло, что Миранда, изменив своему долгу, передал английским адмиралам планы и карты Кубы и других испанских колоний. Его хотели захватить — он убежал, но был лишен чинов и преследуем испанскими властями. Он получал от англичан жалованье, бродил по Европе, замышляя отмщение за неудачу своих честолюбивых планов и выжидая удобного случая, чтобы возвратиться в Каракас и возбудить там восстание. Я тогда не знал всех этих обстоятельств. Но так как Миранда явился ко мне без всяких рекомендательных писем, то я отказался представить его императрице. Однако это его не остановило. В Константинополе он познакомился с принцем Нассау, который ввел его к Потемкину; очаровав последнего умом своим, он через него добился тайной аудиенции у императрицы.

Явясь пред государыней, он прикинулся угнетенным философом, жертвою инквизиции и успел снискать ее внимание, так что, когда он уехал в Петербург, императрица приказала своему вице-канцлеру принять его достойным образом, как человека, которого она уважает. Из дальнейшего рассказа видно будет, сколько хлопот доставило мне его присутствие по возвращении моем в столицу. В те дни, в которые князь Потемкин не принимал гостей, или, лучше сказать, не разыгрывал роль азиатского владыки, я любил бывать у него по-домашнему, видеть его окруженного любезными племянницами и друзьями. Это был другой человек, правда, всегда причудливый, но остроумный и умевший придать занимательность разговорам самым разнообразным.

Правила русских таможен были тогда чрезвычайно стеснительны, строги и соблюдались с чрезмерной точностью. Даже посланники принуждены были давать курьерам своим посылки определенной величины, чтобы ни под каким видом вместе с депешами не замешались какие-либо запрещенные товары. Но те, которые писали законы и должны были наблюдать за исполнением их, чаще других их нарушали. Привожу для доказательства следующий, довольно странный, случай.

Когда мой камердинер Еврар, которого я послал курьером в Версаль с подписанным торговым договором, возвратился с этим актом, ратификованным моим двором, то русское правительство, зная, что он везет подарки короля русским министрам, дало приказание пограничной таможне пропустить его без осмотра. Зная об этом распоряжении, он воспользовался им и, без моего ведома, приехал в Киев в карете, набитой кружевами и разными запрещенными вещами. Раз завтракаю я у Потемкина с его племянницами и несколькими посторонними лицами и вдруг замечаю, что некоторые из присутствующих беспрестанно уходят в соседнюю комнату и тщательно притворяют за собою двери. Всякой раз, как я пытался тоже войти туда, одна из племянниц князя задерживала меня под каким-либо предлогом. Это еще более подстрекало мое любопытство; я при удобном случае ускользнул, поспешно отворил дверь и увидел на большом столе, окруженном любопытными и покупателями, целую огромную кучу разных запрещенных товаров, которые мой камердинер показывал, всячески выхваляя их достоинство и объявляя цену. Мое появление поразило всех. Князь, любопытные зрители, покупатели — все были виновны и пойманы на деле. Мой торговец, озадаченный, начал поскорее сбирать свои вещи. Я принял на себя гневный вид, выбранил контрабандиста и объявил ему, что отказываю ему от места. Напрасно дамы старались меня уговорить и упрашивали простить его; я целый час крепился, но наконец должен был уступить, когда сам князь, первый министр, просил у меня помилования виновного. «Что же делать, — сказал я, — когда, к удивлению моему, вы сами в числе виновников и укрывателей?» Среди всех этих веселых собраний, праздников, балов, забав, торжеств политика не оставалась в бездействии, и со стороны Константинополя поднималась буря, предвестница тех, которые почти целые тридцать лет волновали и тревожили Европу. Все тогдашние политики боялись, чтобы разрыв России с Портою, возбудив соперничество прочих держав, не произвел всеобщей европейской войны. В самом деле, казалось ясно, что если император и императрица попытаются нарушить политическое равновесие и увеличить свои государства обширными турецкими владениями в Европе, то Франция, Пруссия и Швеция всеми силами воспротивятся этим завоеваниям, даже если бы Англия соединилась с двумя империями в надежде воспользоваться этим переворотом и овладеть Архипелагом.

Уму человеческому не суждено предвидеть происшествий самых близких. В то время никто не думал о последствиях легких смут, тогда волновавших Францию. Все, напротив того, полагали, что ее внутренние беспокойства, происшедшие от дурного состояния финансов, ослабят вес ее в европейских делах, так что всех тревожил один лишь Восток. Двор Екатерины становился средоточием политики, к нему обращены были взоры всех государственных людей. Екатерина II, при всей проницательности своего ума, жестоко ошибалась тогда насчет положения французского правительства, которому предвещала она славу и счастие.

**Источники**

1. Альбина Данилова «Русские императоры, Немецкие принцессы».
2. Е.Анисимов «Женщины на Российском престоле».
3. А.Г. Бриннер «История Екатерины Второй».
4. Геннадий Оболенский «Век Екатерины Великой».
5. Ольга Чайковская «Царствование Екатерины Великой. Императрица».
6. Михаил Сафонов «Завещание Екатерины Второй».
7. Гина Кауе «Екатерина Великая. Биография».
8. Императрица Екатерина II «О Величии Россия».
9. Historia Rossica Исабель де Мадариага «Россия в Эпоху Екатерины Великой»
10. «Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины Великой (1785-1789)» Перевод с французского языка. Россия глазами иностранцев.
11. «История и анекдоты революции России 1762 года» Записки графа Рюльера.

1. Записки о пребывании в России в Царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр. [↑](#footnote-ref-1)
2. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер. [↑](#footnote-ref-2)
3. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер. [↑](#footnote-ref-3)
4. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-4)
5. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер [↑](#footnote-ref-5)
6. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер [↑](#footnote-ref-6)
7. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер [↑](#footnote-ref-7)
8. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер [↑](#footnote-ref-8)
9. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер [↑](#footnote-ref-9)
10. История и анекдоты революции в России в 1762 году, де Рюльер [↑](#footnote-ref-10)
11. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-11)
12. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-12)
13. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-13)
14. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-14)
15. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-15)
16. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-16)
17. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-17)
18. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-18)
19. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-19)
20. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-20)
21. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-21)
22. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-22)
23. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-23)
24. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-24)
25. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-25)
26. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-26)
27. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-27)
28. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-28)
29. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-29)
30. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-30)
31. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-31)
32. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-32)
33. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-33)
34. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-34)
35. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-35)
36. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-36)
37. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-37)
38. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-38)
39. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-39)
40. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-40)
41. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-41)
42. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-42)
43. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-43)
44. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-44)
45. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-45)
46. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-46)
47. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-47)
48. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-48)
49. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-49)
50. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-50)
51. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-51)
52. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, Л.-Ф. Сегюр [↑](#footnote-ref-52)